

P2
Л64

ISSN 0235—7976

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУЗБАСС

• 1993

84Р6(2Р-4Кем)
Л64

31807493





Издае

Вл

Р

Генна

В

Алек

Лю

хр(кр)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУЗБАСС

№ 1 (119)

Издаётся с 1949 года

ЖУРНАЛ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Гл. редактор
Владимир МАЗАЕВ

Редакционная
коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Александр КАЗАРКИН

Любовь НИКОНОВА

Виль РУДИН

225700

Учредитель —
Кемеровская
писательская
организация



Издательство
«Ковчег»
1993



В НОМЕРЕ

Владимир Переводчиков. Пройти сквозь стену. Записки
бродячего фокусника 3

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Владимир Куропатов. Вся подноготная 30

Александр Панфилов. Два рассказа. Той теплой осенью.
С открытыми глазами 44

Владимир Мазаев. Ноу проблем! История с альтернатив-
ным концом 64



Адрес редакции:
650099, Кемерово,
проспект Советский, 40.
Тел. 26-71-62

Редакция рукописей
не рецензирует,
а только сообщает
о своем решении.

Коммерческий директор
Л. Т. Скорик
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Корректор Т. Н. Чурсина

Этот номер выпущен
при финансовой поддержке
администрации
Кемеровской области.

ГБУК КеменБ им. В.Д.Федорова
Основной фонд
3/ 807493

Рисунки на 1—4 стр. об-
ложки художника из Гор-
ной Шории А. Чашина к
прозе С. Ковякина

ЗАРУБЕЖНАЯ НОВЕЛЛА

- Ирвин Шоу. И девушки в летних платьях 75
Юрий Солодов. Мифология советского счастья 79
Афанасий Гуковский. Отряд милосердия 84
Любовь Никонova. Достоевский и Исаева: венчание в
Кузнецке 101

НАШИ РАЗЫСКАНИЯ

- Геннадий Аболянin. «Где высокий господин маленько-
го роста?..» (Саша Черный и литературные аферисты).
«Благой мат» и другие 107

Сдано в набор 21.10.93. Подписано к печати 27.01.94. Формат 70X90^{1/16}.
Бумага типографская. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл.
печ. л. 8,19. Усл. кр.-отт. 8,63. Уч.-изд. л. 8,76. Тираж 3000 экз. За-
каз № 2950. Цена свободная. Издательство «Ковчежек» Союза писате-
лей России, 650099, Кемерово, Советский пр-кт, 40. Кемеровский поли-
графкомбинат, 650099, Кемерово, ул. Ногрaдская, 5.

© Издательство «Ковчежек», 1993

ЛР № 040360
Л 77(03) 93

Во-пе

Над-
вмест-
сдерж-
чувств-
быть
ным;
Быть
тават.

Нап-
не ж-
жет б-
нее, ч-
в его
ловек
десам

Чуд-
ши, о-
завод-
не ум-
ного
духов-
ловек
позна-
родей
лишь
жем,
ну, н-
ет вл-
щий п-

Тол-
трачи-
Одн-

Владимир Переводчиков

ПРОЙТИ СКВОЗЬ СТЕНУ

Записки бродячего фокусника

Сыну моему Владимиру посвящаю

Во-первых,— УА-А-А!

Надо бы произвести впечатление и вместе с тем быть как можно проще; сдерживаться от переполняющих чувств и не быть скованным; надо быть содержательным, но не скучным; рассудительным, но не заумным. Быть искренним, открытым, но и оставаться немножечко загадочным.

Наш век категоричен: чудес нет и не ждите их. Потому что их не может быть. Но чем человек образованнее, чем зримее, грубее реализм стоит в его сознании, тем сильнее тяга человека к удивлению, к маленьким чудесам.

Чудеса разные. Одни сгибают души, останавливают перед непонятным, заводят в тупик. А ум человеческий, не умея объяснить законы материального мира, порождает нечистую силу, духов, богов. Одни тайны делают человека рабом страха, другие зовут к познанию неизведанного. Ни один чародей не нарушил законов природы, а лишь создавал такую видимость. Скажем, невозможно пройти сквозь стену, не разрушив ее. Фокусник создает впечатление — для него это сущий пустяк.

Только впечатление? Зачем же расстраивать жизнь на такие пустяки?..

Одну минуточку! Вспомните, когда вы

удивлялись и чему. Как здоровье вашего чувства любопытства... и удивления?

Пушкин в письме другу — «мы ленивы и нелюбопытны» — утверждает: чувство любопытства — весьма ценное качество человеческого ума. «Неумение удивляться — первый признак посредственности», — говорил Сенека.

Размышления о так называемых таинственных жанрах, порождающих и удивление, и уверенность, и сомнение, породили эту книгу. Автор раскрывает перед читателем одну из дверей к искусству Магии, в которую когда-то вошел сам.

Спешу разочаровать тех, кто о моей профессии мечтает как о легко достижимой. Быть волшебником невероятно трудно. Это скорее не профессия — должность. А уж если затаить дыхание — миссия. Миссия против иронии и неверия. Но вынужден разочаровать и тех, кто предрекает диводействию близкий конец. Слово «волшебник» правомерно и в наши дни, надо лишь знать историю его происхождения. Нам понятны слова вал, валить, отвал. Кастрированного (валеного) барана или быка называли валух, что произошло от валах — мерин. Волух — воловий пастух, по типу конюх. Волоха — шкура, кожа, рубаха. Волухатый — косматый. Здесь близко и

волос, и волокно. И не надо быть большим докой, чтобы понять, что волочить, волость, власть, владыка — с одного гнезда. Волох — старое название романских народов. Вол был вольный от стада.

Почти в каждом селении были вольные, бессемейные люди. Некоторым из них давали «желтые билеты»: изгоняли. И они вольничали: слонялись от «дыма» (стойбища) к «дыму» и переносили какую-нибудь диковину, вызывая удивление. Людей же, умеющих чем-то удивлять, привечали. Привеченные обменивались в дороге секретами и набирались таинственного багажа. Одни из них стали гулящими людьми, пошли в леса разбойничать, другие — веселыми забавниками-скоморохами, третьи — удивителями. Они стали исцелять от немощей, читать судьбы, предсказывать события и погоду, наводить и снимать порчу, влиять на силы природы. Одни стали страшными, другие — веселыми, забавными, третьи — таинственными, мудрыми, волохатыми обличьем. И тут-то народное словотворчество оженило два понятия: волохатый и вольный, от которых и родился волхв.

Так вот и выяснился «волшебник». У Пушкина мы не единожды встречаем слова с одним смыслом: кудесник (чудесник), волхвы, волшба. Помните: «Скажи мне, кудесник...»? А сам кудесник называет себя волхвом: «Волхвы не боятся могучих владык». В пору язычества кудесники считались могущественнее владык. Ведь они управляли злыми духами — кудахи. Куд — худ; кудой — худой; кудо — худо — чудо. Прежде зазорно было спрашивать: «Куда пошел?» На эту бестактность обычно отвечали: «На кудыкину гору». И плевались.

...Лишь совсем недавно с учения индийских йогов снят флёр таинственности. Имена многих волшебных персонажей пришли в наши сказки из

экзотической Хинди, и первой на метле прилетела Баба-Яга (женщина-його). И появилась-то она у нас вовсе не злокой, а многоведающей умницей. Потом уже наши сказители под влиянием христианства «обозлили» ее.

Христианские миссионеры навели навет и на Мага-Дэву, могущественного бога Индии (вернее, богиню), превратив это божество в дьявола. А коли дьявол — чужой бог, то записывай его во вредители. Только непонятно, почему в русский язык вросло «дева», «девушка». Но ведь это прекрасно, не правда ли, что своих матерей, сестер, подруг мы называем богинями.

Не шучу, но кого-то из них мы называем и ведьмами, по незнанию своему вкладывая в это смысл отрицания добра. «Ведьма» от древнеиндийского «Веды» — знания. Собрание древних текстов «Атхарваведа» (книга заклинаний) почти целиком состоит из заклинаний, заговоров, наставлений по волхованию и колдовству. Книга учит мудрости. Не распространяем же мы зло на «вести», «ведомости», «разведка» (верно, смотря какая, наша или...) — вот тут я шучу.

И вполне серьезно: ведьма и знахарь — от ведать, знать. Плохо ли?.. Так почему же их надо было за это проклинать, преследовать? Потому что их боялись. Всегда бояться тех, кто владеет хоть какой-то тайной и не похож на большинство. Боялись, но в трудную минуту обращались за помощью. Что оскорбляло церковь. А церковь и какой-то деревенский знахарь были в неравных положениях. Хоть и корни у них одни.

Из истории религии известно: в Греции был могущественный Митра, ирано-вавилонский бог света. Культ его начинает распространяться в эллинистический период, а во втором и

третьем веках нашей эры достигает наибольшего развития.

С древности в Индии бытовала своеобразная религия — огнепоклонничество, или зороастризм. Родина этой религии — древний Иран. С зороастризмом (маздеизмом) было связано учение магов. Слово маг (mah) заимствовано из персидского языка и в древнем Иране имело значение — жрец, член жреческой касты. В свое же время это слово взято у халдеев. Маг-дим — так называли ассиро-вавилонских астрологов. Видите, ниточка протянулась к небу, от астрогнозии до астрометрии — к небесным силам. Слово маг позже вошло во все языки мира со значением колдун, чародей, волшебник, шаман. Кстати, покровительница чароделов древней Индии богиня Майя — не что иное, как «магия». В основе этого слова санскритский корень mah. Слово это на всех языках обозначало внутреннее величие и могущество, силу мудрости и знания. Точный перевод на русский — могучий. И подтекстовочка — обладающий небесной силой.

На Руси до христианства поклонялись богу огня и света Яриле. И эта идентичность верований не случайна. Как бы теперь ловчее показать, что колдун и фокусник одно и то же? И что они ходят вокруг да около огня? От мощного русского слова коло (круг) осталось хиленькое кольцо, что теперь называем кольцо, да соединенное из кол и коло — колокол. «Око» почти не употребляется, а «очи» — в стихах да в песнях. «Очаг» мы и позабыли связывать с кругом. В древней Греции очаг и огонь называли фокус. Не от звукоподражания ли — «фу!»? Немцы лисицу называют фукс — знакомая фонема: огненная, рыжая.

Изобрели линзу, центр пересечения лучей называли фокусом — очагом, огнем.

Понятно! Через линзу мир кажется неправильным, обманным, и все, что связано с обманом, стали называть фокус-покус — как бы детская считалка, в рифму.

Не совсем так. Придется нырнуть в глубь истории. Давным-давно жил монах Фома Аквинский. Старательный, дисциплинированный, бдительный. В наше время он бы достиг больших высот. Короче — патриот своего времени. Он сумел убедить отцов церкви в существовании магии. Он додумал, что ведьмы и ведуны обладают не столько знаниями, сколько магической силой и что они, как черви, подтачивают могущественный храм веры божьей. А плодятся, как тараканы. Всех их на костер!

Библия верующих предупреждает, чтобы около их дома не водились бы колдуны, ведьмы, гадатели, сопельники-гусельники и прочие. Понятно теперь, почему знахарю или целителю нельзя говорить спасибо? Спасибо-то ведь — спаси Бог. Ты спас меня и ладно, зачем же Бог должен спасать и тебя...

Так вот, Фома был верующий и нечистую силу не обожал. Был такой случай. Видя перед собой принципиального человека Фому, пригласил его в свою тайную мастерскую при монастыре его друг, тоже монах, Альберт, показать удивительный автомат, куклу. Когда Фома вошел, кукла — в рост человека — изображающая божью мать, приветствовала гостя кивком головы и жестом руки. Фома схватил что попало под руку и разнес автомат в пух и прах. Вошедший следом Альберт с горечью воскликнул: «Фома, что же ты наделал! Ты уничтожил мой тридцатилетний труд». Вот какой он был молодец.

И в год смерти Фомы Аквинского — 1274 — в Лангедоке запалили костры инквизиции. За триста жарких лет сотни тысяч безвинных жертв превра-

тились в дым и пепел; ушли в неведомое, унесли свои тайны. В их числе Джордано Бруно и его ученик Лючио Ваннини.

Процессы ведьм свирепствовали во Франции до 1390 года и лишь в 1448 году перекинулись в Германию. За любое видимое «чудо» фокусники не миновали аутодафе. И тогда чародеи пошли на хитрость: халдейские заклинания, которые были непременным атрибутом представлений, они стали заменять христианскими церковными речениями. До сих пор при выносе святых даров в католической церкви пользуются заклинанием: «Хок эст корпус меум», что означает: «Сие есть тело мое». А один германец начал говорить: фокус-покус. И вновь все возвратилось на круги своя — к костру, к огню, к очагу. В России на слух улавливали другой смысл: не покус, а показ. Заклинание же стало чисто символическим и даже ироническим. Бесмысленным. Ну-ка пойми, русский человек, что я сказал: «Фокус-покус, вани, бени, вола».

К фокусникам на Руси всегда было неважное отношение. Посмотрите, как ловко в некий ряд поставил их В. И. Даль.

АЛЫРА, алыря, алыр, алырь... — фигляр, фокусник, шукарь, морочила, обманщик; плут, мошенник, карманник, майданщик, обыгрывающий в зернь и в кости; бездельник, шатун, праздный лентяй, дармод, гуляка, перекупщик, зубоскал... Хватит?..

Во всем мире фокусников принято называть магами. В нашей стране за последнее время фокусников-иллюзионистов стали нарекать волшебниками — иронично. А зря, что иронично. Ведь волшебник — знающий, умеющий. Значит, моя профессия не из ряда вон. Отличается лишь видимой таинственностью.

Иллюдо — обман, иллюзионист — обманщик. Ну разве не обидно? Фо-

кусник не обманывает — зачаровывает, мистифицирует. Обманщика можно уличить во лжи, фокусника — нет. Если кто-то и разгадает секрет — он удивится, как это просто. И мистифицируют ради удивления. Приятно удивленный наполняется добрыми эмоциями, а стало быть, в какой-то мере исцеляется.

Мы не боимся зрителя образованного и высокоинтеллектуального. По этому поводу трудно добавить что-либо к сказанному французским журналистом-путешественником Пьером Рондьером: «Как это ни покажется парадоксальным, но иллюзионист меньше всего опасается разоблачения со стороны людей образованных, склонных к логическим умозаключениям. Подобный человек во всем ищет закономерности, в том числе и в действиях фокусника. Именно это пристрастие тут же подводит его. Так называемых простаков — вот кого побаиваются чародеи. Упрямый и ограниченный ум, уверенный, что «этого не может быть», гораздо труднее провести и не потому, что он разгадал секрет трюка, а потому, что его хозяин доверяет только себе, целиком полагаясь на житейский опыт и здравый смысл».

Любой фокус — это правда, замаскированная под сказку для взрослых. Недаром в уставе Международной ассоциации магов написано: «Умение показывать фокусы отнюдь не детская забава. Это прежде всего искусство для взрослых, искусство утонченное и захватывающее настоящих ценителей, искусство, оттачивающее ум и дающее наслаждение».

В единодушном вздохе удивления зрительного зала — цель жизни иллюзиониста. Иллюзион — вечный аттракцион любознательных, любопытных. Не нами сказано: «Утрата любознательности — признак старости». Любопытство и любознательность заставили вас, дорогой читатель, от-

крыть страницу: о чем эта книга? Надеюсь, кому-то будут полезны и мои откровения.

Жизненный опыт еще не мудрость. Чтобы истину сделать простой и доходчивой, не обязательно быть семи пядей во лбу: можно быть просто искателем этой истины. Работая эстрадным фокусником, я ищу истину моей профессии, ее цену для себя и ценность для общества; мне не безразлично ее прошлое, меня волнует ее будущее. Смешно предсказывать, сколько будет фокусников в XXI веке и к каким чудесам они станут апеллировать: фокус — всегда неожиданность. Профессия развлекая удивлять — важна. И как бы ни совершенствовался человек, он останется им до тех пор, пока умеет смеяться и удивляться, пока чуток душой и мучим сомнениями, пока загадочен сам себе.

Посвятив свою жизнь искусству удивлять и описывая ее, вспоминаю фокусы; описывая фокусы, — рассказываю Жизнь.

Родился я в Даурских степях в Приаргунье, в отдалении от кипучей жизни городов, — близ нерчинских каторжанских мест. В поселении (где кочевья уже не помнят — оседлость) многие лета вырабатывался особый говор. Цепка детская память; вынесла и на всю жизнь запечатлела чудную акробатику даурско-приаргунской речи, пришедшей в кандалах да под батогам с Волги, с Дона, с Яика, с Урала, с Севера или пригнанной нуждой в поисках вольных земель и смешавшейся с местной. Слышны в ней далекие отзвуки даурского, татарского, монгольского, бурятского и других говоров. Поэтому, воспроизводя детские впечатления, невозможно было обойтись без местного диалекта.

«Уа-а-а!» — это первое слово, которое произносится человеком, громкое и не совсем понятное, цель его — привлечь внимание.

Во-вторых, — КАКОЕ-ТО КОЛДОВСТВО

Если бы я мог ответить на все вопросы, мне стало бы неинтересно жить.

Михаил Светлов

Самая интересная пора, когда тебя в любой момент подстерегают загадки. Детство. В тихом забайкальском селе Нижний Калгукан в каждом углу — тайны. В наших краях было много очевидцев домовых и привидений, русалок и леших, чертей и...

Центром Вселенной человеку кажется Родина. Не то место, где ты родился, а то, в котором сознанием стал вращаться в жизнь, где зародилась жажда разгадать тайны мироздания, неодолимое желание проникнуть в суть окружающих вещей.

У нас был черный патефон. Необыкновенно красивый! Открыв его, можно было с внутренней стороны крышки видеть, даже трогать блестящий металлический ромбик с многоцветными буквами. Зеркальная мембрана, словно голова птицы, склеивалась пластинок радужные зерна. И тогда... Тогда начинались чудеса!

Просыпались обитатели патефона — крошечные человечки-певунчики — и начинали веселиться. Видеть их разрешалось взрослым, ибо увидевший сразу переставал расти и навовсе оставался маленьким. «Вот баба Вассуха Агафотиха в детстве заглянула в патефон — и всю жизнь коротышка». До пластинок дотрагиваться нельзя: спугнешь человечков.

Однажды — дома никого не было — я открыл патефон и в темный раструб: «Эй, человечки, вылезайте, не бойтесь — вас никто не тронет. А смотреть не буду». Навострил ухо, зашептались — стало жутковато. И хотелось увидеть их, и боязно навсегда остаться как Вассуха Агафотиха. До боли зажмурившись, я ждал. Навер-

но, спорили: выходить — не выходить. Засунул руку. Вдруг один певунчик побежал по моей ладони, щекоча, выскочил на запястье, я взмолился: «Не надо, не вылезай!!!» Сердчишко мое изнутри пустило в ход кулаки. Выдернул руку, спешно закрыл патефон.

Как-то похвастал про обитателей патефона соседскому мальчишке. Он высмеял меня — никаких человечков там нет, и объяснил, почему патефон поет. А в доказательство, что труба пуста, снял головку-мембрану и дунул в нее. Из широкого жерла вылетели спичка да таракан. Какое для меня было разочарование: умерло целое царство. Пропала иллюзия, и я стал беднее.

Как-то на новогодней елке я был Дедом Морозом, который с помощью волшебного жезла творил подарки из ничего. Появлялись и исчезали красивые игрушки, сломанные предметы становились целыми. Сколько восторга играло в глазах детей! Чудеса! И только на лице моего сына застыло недоумение. Он узнал меня по глазам, по голосу, по знакомому реквизиту. К нему Дед Мороз не приходил... А он так ждал его тогда!..

Деда Мороза не бывает, но человеку нужно, чтобы он появлялся хотя бы раз в году. Волшебников тоже, говорят, не бывает. И все-таки я работаю волшебником.

К профессиональному искусству в нашей семье никто не имел никакого отношения. Мой отец был колхозным кузнецом, но разную приходилось выполнять работу в деревне: ремонтировать инвентарь и сельхозмашины, наваривать косы-литовки и крючья к дверным навесам, подковывать лошадей, чинить замки и примусы, налаживать будильники и ходики. Умел он жилкой выдергивать больные зубы у страдалцев. Знал толк в травах. Ко всему был хорошим охотником. Вось-

мерых родила ему моя мать. Четзеро умерли в раннем детстве. Я младшой — «заскребыш».

В мою раннюю память врезался единственный эпизод, когда вижу отца. День его ареста. Мне шел третий год. Привезли его на грузовике из кузницы трое дяденек. Поднял он меня на руки, а я потребовал: «Папа, давай бодаться!» Была у нас любимая игра. Мы становились на четвереньки, упирались лбами и бодались не хуже бычков. Победитель должен покататься на побежденном. Понятно, побеждал я. Отец выполнил мою (последнюю) просьбу. Пока мама, пряча слезы, готовила на стол еду, председатель сельсовета, понятой и милиционер смотрели, как отец, опустившись на четвереньки, катает меня с криком «му-у-у», — такие правила.

За столом я сидел на коленях отца, потом ходил вокруг столбика, поддерживающего голбец (лежанку, пристроенную к боку русской печки), напевал: «Папа ту-ту далеко...»

По рассказам очевидцев, председатель говорил: «По ошибке тебя берут, Григорьевич, разберутся — отпустят». Отец был спокоен, утешал и мать: нет причин волноваться — одиннадцать благодарностей за ударную работу. Не суждено было вернуться отцу: реабилитирован посмертно.

Через три года началась война. Обоих братьев призвали в Красную Армию. Сестра по окончании трех курсов педагогического техникума работала сельской учительницей в Усть-Тасуркае, за полсотню километров от дома. Остались мы вдвоем: мама, жена старшего брата Пана и я. Мама больная, невестка беременная.

Уходя в колхозное поле, мама иногда «поручала» меня соседу Прокопию Михалеву. Уезжая в лес по бревна, он брал меня с собой. Прокопий рассказывал: «Парни по лесным девкам на чердак лезут, а куда тебя девать?

Ложимся под телегу и спим». Лесными девками называли девушек, временно по вербовке работающих на лесозаготовке. Потом, когда мужиков в деревне не осталось, невестка Пана брала меня с собой в лес по дрова. Работник из меня был никудышный, но все же веселей: вдвоем.

Наверное, как всех мальчишек, с розового детства меня манили тайны. Первые шаги открытия мира. Четырех-пятiletние, без присмотра, мы оравой шастали по сопкам, искали птичьи гнезда и разоряли их. Прочесывая рвы, луга, речку, добывали съестное. Уже ранней весной на оживающих еланях рвали сочный душистый мангир — растение, по виду напоминающее черемшу (колбу, дикий чеснок). После долгой голодной зимы он был и лакомством, и необходимым продуктом, и полезнейшим лекарством, заменяющим витамины. Приятно хрустели его плоские изумрудные горьковатые листья. Каких только блюд из него ни выдумывали тоскующие постряпне женщины: тут и бульоны, и пироги, и вареники. Некоторые умудрялись печь блины из их белых корней.

Растаивал снег. Бушевали весенние палы. На черногалах пробивалась зелень. Подножная кормежка веселела. Мы ели все: жевали цветы сон-травы и багула, на каменистых сопках выщипывали «гусиные лапки», колючие вилочки дикой капусты. Каждый мальчишка в Нижнем Калгукане знал названия трав, цветов, ведал, какие из них съедобные.

Проходили майские дожди и грозы, дышало солнце, и зелень бурно набегала на солнцепеки, луга и долины. Появлялся чеснок, лук, а там, глядишь, корень-решень подоспел, кислица, солодки, сарана, молочные огурцы-дикоросы. И уже до ягод вот-вот.

Это были жуткие военные годы. Но мы особенно не унывали. Радость об-

щения с природой, стихийный восторг безнадзорности делали наши дни неповторимыми. В колхозе были ясли для молокососов да ползунков, а мы, ходуны, — сами по себе. Игнали в основном в войну, которая частенько оканчивалась всеобщей потасовкой. Консервные банки и шапки «заряжали» золой и фуговали в противника. Поле сражения покрывалось тучами серой пыли. На наших лбах процветали синяки и шишки. Все это вырабатывало в нас самостоятельность, готовность к самозащите. Думаю, постоянная опека в этом возрасте вредна.

Разумеется, не все затеи кончались благополучно. Кому-то нос на сторону своротят. Кто-то, прыгая с амбара, ногу себе переломит.

Ходили мы как-то по Черемушному рву в поисках съедобного. Нарядным он бывал лишь в пору «цветогара» — цветения пионов — марьиных кореньев. Теперь нас влекли ягоды. Вдруг кто-то закричал: «Сюда все, сюда! Глядите — спелый мак!» — «И вправду мак», — подтвердил Алеша Шароглазов, старший и самый авторитетный: сын председателя колхоза. Из созревших коробочек стали добывать черное семя. Я есть не стал — оно мне напомнило табак. (Я не раз угорал от табачных листьев в огороде, срезая и связывая в попуши — в пуки.) Мой двоюродный брат Илья тоже отказался. А остальные четверо с удовольствием умяли по горсти и набрали в карманы про запас. Хорошо, это случилось под вечер. Пастух вот-вот должен пригнать коров, и нам надо спешить за телятами, иначе те могли встретить стадо и высосать молоко — нашу долю.

Мы дошли до первых огородов, как раз Петьки Шароглазова. Вдруг любители мака стали чудно себя вести: болтать всякую чепуху, показывать друг на друга пальцами, придуриваться, закатываясь в смехе, хвататься за

животики. Потом начали шататься как пьяные, валиться с ног. Один лежит, размахивая руками-ногами, словно бежит, другой рвет траву; третий ее жует. Глаза навывают, лица красные. Особенно разбушевался Петька. Илья и я сдрейфили, кто куда побежали искать взрослых. Перемахнув забор, я увидел Петькину мать во дворе и что есть мочи: «Тетка Катерина, ваш Петька сдурел. Эвон за огородами валяется!»

Сбежались люди, пострадавших унесли. Петькина мать закричала на свою дочь: «Нюшка, холера, чего глаза пучишь?! Живей за теткой Калей!» Прибежала мама, распорядилась: «Молоко — в загнетку, кипятите, а покуда дайте сырого».

Петька лез на стены. Четверо взрослых гонялись за ним, но он выскальзывал. Наконец скрутили. Оловянной ложкой, едва не поломав зубы, разжали рот, влили молоко. Кое-как отстояли Петькину жизнь. В карманах обнаружили черные семена.

— Это дурман-трава, — сказала мама, — то-то я замечаю, последнее время коровы стали дичать.

Жуткое зрелище — бешеная корова. Скачет, мычит, копытами роет землю. Забор на рога поднять может, трахнуться с разбегу головой в стену так, что стекла в окнах дребезжат. Людей и даже собак с улицы будто кто метлой сметает. Надичается, упадет, язык высунет, лежит. Глаза из орбит вылазят. Хозяйка уже ждет последнего ее издыхания. Нет — отлежится, встанет и, шатаясь «с похмеля», идет куда ее гонят.

Назавтра женщины вышли за село, изничтожили дурман-траву.

У моей матери была репутация травознайки. Многие считали ее знахаркой. Она часто болела, поэтому ходила собирать ягоды и травы для себя и других. Варила снадобья, зная, какое в каком случае надо применять.

«Вправляла людям мозги», как выражались в селе. Падал человек с лошади или получал другую травму головы — он приходил к нам. Мама измеряла голову веревочкой, таким образом обнаруживая опухоль, а больше того забирала внимание больного, расслабляла его, а значит, понижала давление и с помощью своих рук снижала температуру; натряхивала, массировала.

Самое удивительное — она умела останавливать кровотечение: что-то говорила, дула на рану или присыпала порез порошком из сушеных трав, и кровь останавливалась. Как-то в голодный год мы долбили в поле топорами мерзлую картошку. По степи пронесся пронзительный крик. Ослабевшая женщина разрубила себе ногу. А та, что рядом с ней копошилась, и закричала. Сбежались люди, разули ее — рана была ужасная. Мы тоже подошли. Вокруг стояли изможденные люди, хмуро наблюдали. Беззвучно плакала женщина. Рядом причитала сердобольная старушка: «Матушка моя, деток-от твоих жалко!»

Мама прикрикнула на обеих: «Перестаньте выть! — стала успокаивать пострадавшую: — Ладно, будет тебе уросить-то (плакать). Сядь лицом к ветру». Осмотрев рану, поправила, обвела ее рукой, что-то шепча, объяснила, что несколько капель крови еще вытечет, чтобы заражения не было. И вдруг спросила у женщины о чем-то постороннем. Та удивилась, замешкалась. «Ну вот и все», — сказала мама. Кровь остановилась, успокоилась и женщина. Больной забинтовали ногу, и мы снова отправились добывать из-под мерзлой земли картошку.

Это казалось колдовством. Много позднее я нашел всему объяснение: гипнотическое внушение. Мать вряд ли знала сама, как это получается. Она была суеверна, верила в заклинания — в силу слова, что само по себе

не противоречит порядку таких вещей. Она верно пользовалась приемами внушения (суггестии). Позднее и мне приходилось останавливать кровь. Заклинание, что передала мне мать, могло быть и другого содержания, скажем, в индийской книге «Атхарваведа» оно совсем другое. Все дело в самой процедуре и внушаемости (гипнабельности) пациента. Ведь абракадабра не просто словоизвержение — это набор ярких образов, вызывающих особое состояние, прежде всего — самого целителя: сосредоточения и углубления в действо. Нужна абсолютная вера, что кровь действительно останавливается.

Колдуны видят себя не изнутри, а как бы со стороны, глазами зрителя, поэтому им нужна изрядная доля актерства.

...Что врежется в память раскаленным воображением — на всю жизнь. Она несет свежесть впечатлений раннего детства. Мое мироощущение обострилось от споров и рассуждений взрослых. Не казались странными доводы вещей старух, что все взаимосвязано: явления природы, вещи, люди, планеты, рождение и смерть. Все движимо и управляется чистой и нечистой силой, непонятной, потому и страшной — заключенной в несказанной мысли, в определенной расстановке слов. Таинственность манила и пугала, взбадривала, беспокоила. Впечатляли заговорные ритуалы.

Поехали мы с мамой в гости в Калгу, к ее старшей сестре Степаниде. На другое утро пришла белобрысая женщина, кутаясь в ветхую душегрейку без пуговиц и пояса, с долгими рукавами, заменяющими ей рукавицы. Мы завтракали. Снимая черную бархатистую кожуру, катали картошку в руках, дули изо всех сил, чтобы остудить, и запивали парным молоком. Красные блики пламени из чела русской печки играли на лицах. Было

весело, ноги сами собой болтались под стулом, за них то и дело хватался кот. Калгинцы разговаривали смешно, окали: «Вово, ты ково не ешь-то, насдобился уже?» А пришедшая норовила всех переокать. Краем уха я уловил и смысл ее оканий: приглашала чего-то посмотреть.

К вечеру мама с тетей засобирались, меня брать и не думали. Но от меня не так-то просто отвязаться. «Придется брать, — сказала мама, — ить ревом всех выживет из дому». — «Выживу, выживу», — подтвердил я.

Пришли мы в теплую светлую избу. Чистая скатерть, цветники. Чуть в стороне фикус до потолка. В божьем углу иконы, по стенам фотографии в резных рамках-киотках. На свободном простенке тикают ходики, длинными цепями держа две гири. На широкой передней лавке какая-то острая как сабля старушка прилаживает куделю шерсти к ручной прялке. В кути, как у нас называли уголок перед печкой, отгороженный занавеской, полная женщина хлопочет с посудой.

Острая старушка ответила на приветствие, низко поклонилась, но с лавки не встала. Та, что в кути, засуетилась, обтерла о передник руки и троекратно почеломкалась с мамой. Кивком головы показала на кровать, где из-под овчинного тулупа отчужденно зыркала худая, почти прозрачная девушка. Потом вошла ее мать. На столе появилась стряпня: вафли, заварные калачи, куржики*. Вкусно запахло кислыми щами.

— Но подвигайтесь ко столу, дороги гости.

— Сперва надо посмотреть нашу красавицу, — мама сполоснула руки, перекрестилась. — Чего же ты, сахараночка моя, захворала? — Худушка, глядя в потолок, все молчала, но ма-

* Куржики — лепешки из замороженного творога (закуржевелье).

ме покорялась.— Покажи-ка, голубушка, ноготочки твои, теперь десенки, соднова и язык... А тута болит?.. А тута?

Осмотрев ее, мама попросила стакан теплой воды. Села на край кровати, стала ладить (заклинать болезнь). Глядя ей прямо в глаза, осенила голову девушки круговыми движениями руки. Пошептав, она легонько дула в измученное лицо, которое постепенно освобождалось от страдальческого напряжения. Взгляд становился невидящим, чуть приоткрывался рот. Было заметно усиление, с каким она поднимала немеющие веки.

Незаметно мама перенесла лажение на стакан воды, и шепот ее стал громче, принял размеренный, монотонный характер, заполнял все углы дома, обволакивал сидящих в избе сладкой истомой, овладевала вниманием, убавлял мысли, притуплял боли — околдовывал. Всех охватило ожидание чуда.

Потом мама помогла больной встать, довела до порога и, поливая себе водой на руку, умыла ее. Снова уложила, уверенно сказав: «Теперь уснет».

Нас угостили. Девушка уже спала. Мама приподняла с нее тулуп и, посмотрев, как та лежит, заметила:

— У каждой болезни — свое положение тела во сне, по ему можно много узнать. Если мясо или твердь болит — во сне это человек ощущает и старатца лечь, чтоб ослабить его, а друго, наоборот, надо натянуть. Одно привязано к другому.

— Не зря говорят, — грузно дышит толстуха Пелагея, — беда одна не придет — друго притащит за собой.

— Но-о, — подтверждает постная старушка Устинья, — война завсегда голод да хворь всяку несет... и недород от войны и всяка всячина. Ноне опять недород... — Она вздыхает истово, стараясь изобразить боль по урожаю, но у нее не получается, видно,

уже в привычку вошли вздыхания. Это она для куражу, для слова прокатного.

— У Нюшки вон-ока падуча, — подтыкая куделю, продолжает Устинья, — родимец ее бьет, а к недороду, дева, всюю зимушку трясло... Вот и белозуба, и русокоса, и с лица вроде басконька, а не замужем. Мешат ей хворь ее, хоть работяшша. Матвей-от сох по ей, а жанился на Огнейке, Терентия хромого девке.

— И-и-их! — догоняет толстуха. — Не говори, дева. Как жердь долгушша и хлопуша-болтуша, а Матвейку-то заикрючила!

— А кто он, Матвей-от? — поинтересовалась мама.

— Кто, да щетовод колхознай, а у щетовода одне забавы: прибавы да убавы. Опричь того — щеголь, в мериканских ботинках по снегу выхвляется, чуб из-под шапки и... уши торчат, как у нетопыря.

Женщины посмотрели на кровать, где спала больная, затем на маму. Короткое время помолчали. Пелагея, отложив вязанье, поднялась и, повернув отражатель лампы от кровати, умиленно сказала: «Спит, матушка моя». Все задумались.

— Спросить хочу... про колдовство, — обратилась Устинья к маме. — Колдуны, гряд, тоже разны бывают, одне с богом водются, други черту душу продают, с нечистой силой валандаются. Другому могут тайну этой силы передать. Не врут?

— Кабы знатье... — пожала плечами мама. — Человечий ум — сама больша сила. Умны люди — не ровня нам. И чутки — тоже. — Она помолчала и стала развивать свою мысль: — Кажна божья тварь ищет полезну траву. Собака не питается ей, а почует хворобу, бежит в поле и находит себе нужну былинку-травинку ли корешок какой. Но у них нюх опять шибко хороший. У ранешнего человека нюх тоже

добрый был. Нынче солью да горчицей, перцем да табаком испортил он его... да винцом. У ползунков нюх пока сильный на любой дух. Ежли его организма чо просит, робенок же чуёт это. Внучка моя, Полинка, весь припечек обгрызла. Кости-то растут, а оне, видать, из известки да угля, не смотря, что уголь черный, а кости белы.

— Дивно много полезного в траве да в камне, еще моя покойница баушка говаривала, — задумчиво вздыхает Пелагея.

— А вить шаманы не просто заветны слова передают, а и секреты трав и отрав. Отрава та же трава... в другой плепорции. Порчу-то трава, главным делом, приносит, ежли чура не знать. Надуйся ее — и все тут... Трава она всяка полезна, даже тот же дурман... и куриная слепота: с умом надо брать из них жизненну силу. Вот оса да пчела понимают, где чо у травы. Оттуль и пользительность ее яду... как и зменного. Опеть же в махонькой плепорции... с умом надо брать. Вот те и отрава. Вот табачный лист к болячке приложи и дурь высосет, но не всяку. Алой — другое дело: и внутренну и наружну рану живо рубцует. Овсяной отвар отшибает охоту к куреву...

— Замест зеленухи мужикам надо овсяну кашу подавать, — захохотала Пелагея.

На часах раскрылась дверца, выскочила кукушка и давай куковать. Мама крестилась: «Христос-то дал!»

Подобные разговоры западали мне в душу, будоражили ее, и я по-особому начинал смотреть на мир, на людей, на животных, на травы.

...От травного сока сыреют колени. Курослеп выжигает глаза. Все вокруг темнеет, и только он — цветок куриная слепота в твоём сознании — больше ничего. Какое-то колдовство!

В-третьих, — СПАСЕНИЕ ОТ СТРАХА

Не помню, когда испугался первый раз. Может быть, как только научился останавливать взгляд на предметах и, увидев желтый огонек маковицы, внутри обнаружил мохнатую гусеницу? Возможно, задав вопрос, услышал на него ответ, а вприбавок и страшную сказку? Или зачуяв, как в кустах шевелится что-то, я зверенышем содрогнулся — в ужасе.

Но чуть позже понял: кроме света, звуков, воздуха, воды, тверди есть еще страх как некая противооснова. И первая главная забота — освобождение от него. Дотошное истолкование страха — боязнь ограниченного пространства, надвигающегося насилия, катастрофы.

Боязнь природных стихий вечно гнала человека и вадила его на колени перед божествами, порожденными его собственной слабостью. Но всегда боги получались неудачными: высокомерными, эгоистичными — их постоянно надо было умолять.

Всякий — автор особого бога. Как важно — встретить человека, которому веришь, с которого «делаешь жизнь», от которого ждешь защиты. Мне случалось боготворить людей. Некоторые и теперь для меня остаются богами, большими и малыми, и в жизни, и в искусстве. Они прикрывали меня от одиночества, от паники, от лени. Я благодарен им, они показали мне мою же жизнь!

Со временем переосмысливаются ценности, меняются отношения. Отсюда — одни боги еще живут, другие растратили силу притяжения и растворились во времени. Но главным божеством была и остается мать — МАТЬ — с той далекой детской поры, когда незримыми нитями я был связан с нею. Тяжело переживая утрату мужа, будто боясь потерять и

сына, не отпускала меня ни на шаг, даже ночью. Просыпался я — просыпалась и она. И она научилась меня не будить. Когда светало — а в то время жили не по часам, — мама, не двигаясь, тихонько наговаривала: «А ты, сынок, спи... спи шибче. На улке серый свет, дети все спят. Спи, хозяин, — надо расти. Я коровенку подою, молочком тебя накормлю».

Она вставала, укрывала меня потеплее и продолжала:

— Спи, не пробуждайся, моих шагов не слушай. Эвон и телята спят, и котята спят, и поросята... — Я не слышал, когда она выходила из избы.

...Несколько лет кряду по теплу откуда-то с юга появлялась диковатая женщина. К кому-нибудь просилась переночевать. Чаще всего к тетке Парасковье и дяде Антону — ей нравились земляной пол их зимовья. Водились за этой путешественницей странности: маме говорила, идет в Кутомару или Кадаю, тетке Парасковье — в Чашино или в Золотоношу.

— Почо опять идешь-то? — спрашивались женщины.

— Дак это... родню проведать, сестренница у меня тамака живет. — В другой раз — братан. Тут же поясняла: — Ваш калбуканский народ добрый, а вот в Талмане худой: деньги у меня фукнули, и в кармане теперь ни копыя.

По возможности наши снабжали ее дорожными харчами.

Двоюродная сестра Марейка — дочь дяди Антона — принесла новость: «Слыш-ко, тетка Каля, баба-то эта страшная, вечер почавала, сказала — спасибо! И сама же ответила — на здоровье. А к ноге под юбкой мешочек привязан тяжелый».

Странная женщина появилась ни свет ни заря, как говорится, еще черти в кулачки не били. Мама с парников снимала ночное укрытие, а та подкралась к забору и сквозь чащу:

— Савельевна, я те от Чажихи поклон притащила из Бырки.

— Ты чо, снова оттуль?

— Нет, из Кадаи, а поклон за тот раз. Передать позабыла.

— Спасибо, дева, в избу заходи, чаевать будем.

Топилась печь, я продолжал спать. Если ночью тревожился, мама тылом ладони со словом «спи» проводила по лицу крест-накрест и я успокаивался. Если не помогал, она перевертывала подушку, иногда перекладывала ее на другой конец кровати. В тот раз так и получилось, я лежал головой наоборот.

А в деревне не дай бог посмотреть на спящего ребенка через голову: можно озевать. Мама куда-то вышла, а баба надо мной именно так и склонилась. Я поднял веки и увидел над собой чудную голову из стены. Вскрикнул. Изба крутанулась в другую сторону.

— Я уж думала, парнишонка-то твой помер.

— Окстись, дева, типун те на язык! Ночью меня преследовало это видение: голова из стены.

— Озевала баба парня-то, — жаловалась мама соседке, — мое лаженье и помогать не помогает.

— Своего трудно ладить. Тебе бы сводить его к бабушке Машухе Якимихе, умыть, — посоветовала Агафья Михалева.

Спустя еще бессонную ночь мы пошли к бабке Машухе. Дорога меня развеяла, новая обстановка отвлекла. Старушка подманила мятным пряником, погладила по волосам, вискам, каким-то пуховым голоском проговорила: «Умою я его, удалого».

Подобные действия я видел у мамы, но к ним привык. Якимиха так же шептала на воду. Потом открыла подполье и, поливая себе на руку, умыла меня. Ее уверенность и спокойствие мамы заставили почувствовать, как с

моего тела словно отпали тяжкие цепи. Внешне я сделался спокойным, но по ночам изредка налетали кошмары.

Странности случались утрами; мама выходила подоить корову, вскопать грядку — я спал спокойно. Отправлялась ли на речку, на маслозавод — я вскакивал и начинал плакать. Невестка Пана, выросшая у мачехи, видать, сама немало пуганная, принималась умело страшить меня:

— Сейчас выманишь! Вон, старуха-то полудушка в огородчике в ботве сидит, она те живо приберет.

Пана была низенького роста, худенькая. Бесцветные волосы, острый нос, близко посаженные глаза делали ее похожей на мышку. Она шмыгала к окну, медленно раздвигала герань:

— Вай! Старая-то укачала куда-то. Петька Катеринин уросит, наверно. — Пана оглядывалась. — А ты не переставай, реви. — Потом восклицала: — Ой нет, эвот она шебуршит в табачной грядке! Идет... Кабыть от уроса избавит!..

Я испуганно смолкал. Пана, помешкав, махала рукой в окно:

— Ладно, бабушка, не ходи, угомонился рева-то. Жди до завтра.

А как-то устроила настоящую преисподнюю: в сенях нарядилась в собачью доху, спрятала под черным полущалком голову. На пороге лишь вымолвила: «Кого тут надо в куль?..» Я побледнел, подступила рвота. Она прекратила маскарад, расхохоталась:

— Вай! Трус, с ём уж и не поиграй: мамке нажалуется.

Когда невестка принималась пугать, страх потери матери становился меньше, но надвигался какой-то ужас и я оказывался зажатым между двумя страхами. Но был рад тому, что Пана меня не оставляет одного. Чтобы не навлекать всякую нечисть, я научил себя сдерживать.

Однажды ночью маму позвали к роженице повитухой. Я во сне почув-

ствовал, что она ушла, — и в страхе оцепенел. Вернувшись на рассвете, мама взяла меня за руку и ужаснулась: рука была как окаменелая.

Особенности механизма страха, как я понимаю, — непроизвольное напряжение, оборонительная готовность. Испугавшийся, особенно неопытный и впечатлительный, сам снять это напряжение не в силах. Поможет лишь психиатр. Целительно и любое отвлечение внимания, чем во все времена пользовались знахари, костоправы, шаманы. И как ни странно, умеют это и матери.

...Поднялся переполох. Старший брат Ваня, невестка Пана стали меня откачивать. Тело от оцепенения освободилось, но ртом пошла кровь. Мама ее «зашептала», а в сознание я не вошел. Ваня — стрелой на конный двор. Пару лошадей тридцать пять километров гнал во весь опор — в райбольницу.

Около четырех месяцев я был незрячим. Зрение мне восстановили. Страхи утихли, но долго я боялся остаться в избе один.

Пугать детей всякой чертовщиной бесчеловечно.

После больницы мы сколько-то времени жили в Бырке у тетки Парасковьи Чагиной: уехать было непросто. За чагинским огородом речушка. Весной она пустилась в разгул. Через нее высокие козла умощались бревнами. Играя со мной в прятки, две сестренницы-школьницы обманули меня и по бревнам перебрались на другой берег. Думали, что я их не увижу. И сами не заметили, как я по тем бревнышкам стал карабкаться через реку, чтоб догнать их. Утонуть запросто, но я такого страха не испытывал. И вот «защеголял» я в красной рубашонке по лужку мимо стаи гусей. Гусаку не понравился мой форсный вид — он за мной. У меня пятки засверкали. Противник долбанул меня в спину, и я

упал ничком. Сохраняя достоинство, гусак не стал бить лежащего. Поругался, крыльями помахал и удалился к своим красавицам. Мне его выходка не понравилась. Потянуло к людям.

Очутился на базаре. Изумленный скоплением народа, держался в стороне. С ходу сделал открытие: люди хуже нашенских. Представьте себе, хоть бы кто угостил ребенка. У нас, если малец смотрит жующему в рот, его обязательно потчуют. Взяла обида — заревел. Женщина спросила, чего плачу. «Исть хочу». Она сунула что-то мне, утерла слезы: «Ты чей?» — «Мамин». — «А мама чья?» — «Моя». — «А фамилию свою знаешь? Маму-то как зовут?» — «Мама».

Только к вечеру оказался дома. Кому же могло прийти в голову, что я переберусь по тем мосткам: взрослый не всякий решится. Искали лишь на правом берегу. Прибежала мама и, плача от радости, стала меня целовать. Тут-то я понял — путешествовать хорошо.

Прошло немного времени, как я отправился в осознанное, заранее обдуманное путешествие.

...«Спасение от страха» — или я неверно назвал эту главу, или... Как же я буду спастись от страха? Дать ответа и совета не могу, ибо никому неведом страх другого. Возвращаться к этому придется на протяжении всей книги. С течением времени изменяется и наше отношение к страху. Да и сами страхи меняют свой облик: ослабевает сила одного, а где-то нарывает другой. Только блаженному ничего не страшно. Одно из человеческих достоинств — сознательно пойти против своего страха и победить его. Не это ли «спасение от страха» определило мою профессию: волшебство должно быть только добрым или забавным, не унижать, а возносить человека.

...Много хлопот мы, дети войны, приносили своим матерям, которые с рассвета и дотемна были на работе. Но вот беспризорство кончилось: колхоз организовал детскую площадку. Ели мы теперь почти досыта, но после вольной-то волюшки...

Подружился я с Шуркой Митричем, Бушиным. Бабушку, у которой он рос, называли Митревной, пристало ее отчество и к внуку. Второе Шуркино прозвище Молчун — от деда. Дедко Микула, чеботарь, имел странную привычку — разговаривал сам с собой. Сидит, бывало, ковыряет шилом и, не обращаясь ни к кому, беспрерывно бурчит. О чем спросят — отвечает и вновь за свое. За это Микулу прозвали Молчуном. В нашем селе многие ходили с добродушными, но меткими прозвищами.

А сблизило нас с Шуркой Молчуном-Митричем общие интересы. У него в двадцати километрах от села жила вторая, по материнской линии, бабушка; у меня, как я упоминал, тетка, братаны-сестренницы. Насущной темой бесед у нас с Митричем было сладкое воспоминание о том, как потчуют в Калге, какую радость испытывают родственники при встрече с нами.

И мы решили махнуть в гости. Не с бухты-барахты, а подготовили побег. Часть хлебной пайки сушили и прятали. Ждали момента. После нескольких неудачных побегов к нам приставили третьеклассницу Нюрку. Она очень старалась, если кто повисал на заборе, окружавшем детскую площадку, подскакивала, хватала беглеца за штаны или рубашку.

Но вот момент подоспел. Обычно предколхоза Шароглазов, возвращаясь с поля, через ограду справлялся у заведующей о делах. После обеда мы готовились к тихому часу. Появился он:

225100

— Здорово, работники! Норму выпоняете? Кашу съедаете?

— Съедам, Иван Глигольич.— И бегом за заведующей.

Груня Ерохина, а было ей лет пятнадцать, вышла со слезами: «Каво делать?! Отправляйте обратно на ферму. Просят есть, а хлеб скормила уж. Полковриги на два дня осталось».

Шароглазов написал записку в полеводческую бригаду, отдал своего Рыжку. Груня на Рыжке ускакала за хлебом. Повариха Дарья Морозова отвернулась полить на своем огороде. Нюрка уложила ребятню спать, села у двери, задремала.

Мы с Молчуном тишком через забор — и тягу. Сначала кралась задми. По пути шмыгнули в наш огород, нарвали зеленых помидоров, нащипали стручков гороха и прямиком через сопку.

При подъеме на первую сопку показалось: земля накренилась. Дальний ее край вздыбился к горизонту. Горизонт был бесконечным, манящим и пугающим, на нем клубились белесые облака, казались живыми. Весело щебетали пичуги, над землей витал теплоток запахов. Хрустели на зубах помидоры, пощелкивал горох. На уклоне сопки мы наткнулись на дикоросы-огурцы: высовываясь из-под листиков, они грелись на солнышке. Не заявившись же к родне без гостинца...

Азартно ловили зеленых кузнечиков и нарядных кобылок-белошеек. Зной до красноты и пота опалил лица. Припекало голову. Набредли на шипицу. Оранжевые ягоды сладкие, но сухие. А на семенах колючие, волоски, попадут на тело, начинается зуд.

— Митрич, ты мне спину посарапай,— попросил я друга,— а то как все равно клопы накусали.

Дорога показалась слишком долгой. Наконец жара схлынула, но после шипицы и черствого хлеба нестерпимо захотелось пить. Как же мы захватить

воды не догадались?! Отдыхать стали чаще, говорить — реже. Умяли гостинцы, дикие огурцы: все же сочные. На вкус молочно-сладкие, ничуть не подходили на огородные. Калгинцы нам и так обрадуются. Кобылки-кузнечики по-прежнему хороводили, но уже раздражали своей трескотней. То ли дело кобы (бабочки) — летают себе тихо, не шумят.

Нет-нет да прожужжит шмель. По дороге ползут сухие усахи, жухлая трава от малейшего движения воздуха по-старушечьи шаманит. Вот суслик встал палочкой, что пичужка прострекотал, с любопытством поглазел на нас и снова в норку. Издали степь кажется вымершей, а вблизи она кишмя кишит живностью. И неизвестно еще, что сильнее пугает — безмолвная пустыня или незнакомая жизнь во всех ее проявлениях.

Колыхнулись травы. По дороге пружинка-вихрь — прыг-прыг.

— А если ткнуть его в самую середку ножиком,— сказал я,— то там на самом востром месте покажется кровь. Это сатана вертится, понял? Я сам видел, как один мужик пырнул и...— крови! — припугнул я Митрича. Я на самом деле слышал такое поверье.

Сказал и сам замер в испуге. Во рту еще больше пересохло. Шурка хрипло прошептал: «Вовка, я всюю слюну сглотал». Я стал успокаивать: скоро речка. В эти места меня не раз брал с собой сосед Гриша Михалев, когда ездил за прутьями в колок на Калгу-речку. Глядим, в стороне кислица, у нас слюнки потекли. Рванулись к ней. Вдруг из-под ног какая-то птица. «Мама!» — мы шарахнулись прочь. Птица отлетела и села у дороги.

Морщась, пожевали мы кислых перезрелых дудочек. Пошагали. Одолели бугор. Остановились. Земля покачивалась под ногами.

В низине посверкивала на изгибах

речка. На берегу стояло большое мельничное колесо от разбитой водянухи.

— Вишь, как далеко она, река-то. Пойдем к ней или как?..

— Там, наверно, леший живет,— пуганные любят пугать.

— Ага... Баба рассказывала, лешие и всякие чуда водятся в старых мельницах... и шаманы живут.

— Может, он сидит там сейчас и шаманит.

— Я шаманов не боюсь. Я видел Петю Шаманчика.

— Я, чо ли, боюсь?.. — Но к речке идти расхотелось.

...В селе переполох. Нас искали где только возможно: на чердаках, в сараях, на берегу, за огородами. Груня Ерохина, обливаясь слезами, объехала околицу села, поднималась на сопку. Чуть раньше и могла бы заметить: ведь под этой сопкой мы лакомились огурцами.

Солнце почти коснулось хребта, когда мы с бугра увидели Шивинский мост. Выше в падушке косцы метали сено. Навстречу нам двигались конные грабли. А на них работала Шуркина тетка Нюра Бушина.

— Тпру! — осадил ее соловую лошадку. — Вай, и вправду Шурка! Вы куда наострились? — Она не верила своим глазам.

— В Калгу-у-у, — Митрич сдал, стал умываться слезами.

Была б Нюра моей родственницей, я бы тоже заплакал.

— В Калгу? В Калгу?!! — вовсе поразила Нюра. — Зачем?

— В гости к бабе.

Его тетка, вместо того чтобы поддержать наш благой порыв, схватилась за живот и ну хохотать. Даже лошадка оглянулась и заржала. Нюра покачала головой:

— Ой, умора!!! Над вами надсидится, гости! Баба-то, поди, ноченок не спит, глаза проглядела — гостей соп-

леносых не дождет. В Калге только вас двоих и не хватает.

Утерев лица, она усадила нас задом наперед, приказала держаться за «зубья» и присвистнула на лошадь.

— Гости... — уже сердилась Нюра. — Дома-то чо теперь деется? Думают, волки вас слопали.

Ехали через болото. Огромное, в рост взрослого человека колесо ухало возле меня в жижу. Под копытами чавкала грязь. Зубья у граблей прыгали и звенели. Сидеть жуть как было неловко, а все же лучше, чем ковылять на своих двоих.

Но испытания не закончились. Тучей налетело комарье. Огромные пауты облепили лошадку. Она хлестала хвостом, мотала головой, громко фыркала.

Нюру держала над нами плоская пружинистая ножка сиденья, похожего на большой лопух. Колесо — то в яму, то на кочку, «лопух» спружинит, подбросит Нюру вверх, но тут же ловит, как горячую на ладонь картошину. Боязно: как бы Нюра не слетела — тогда и нам каюк. Мы не знали, куда деться от комарья. Наши лица распухли, глаза вовсе заплыли.

Комары дым-то не очень уважают, поэтому на стане было более-менее сносно. Нас накормили-напоили, поудивлялись и на телеге отвезли в село.

Дети не любят просить прощения: ведь взрослые не доросли до понятия их правоты. А что до обычной детской присказки «я больше не буду» — так она для успокоения родителей.

...От неосознанной тяги к играм и развлечениям, через канитель проб и ошибок, к обостренной тоске по зовущему горизонту — человек делает свой характер. Природа отпустила ему — кроме характера — все: тело, разум, темперамент, энергию, способности. Но наивно думать, что это она подарила: придет время и

«до
как
но
кар
тор
вае
Г
гад
дой
роб
ты
В
сча
жен
В
дет
лых
ных
рен
И
сна
З
гра
про
заш
пой
воч
гор
...
и я
шук
дел
чуд
тех
жес
клу
...
они
рон
счас
гов
А
В-ч
В
фок
ла
кал

«должник» обязан будет вернуть все, как «взаимодавцу», не только сполна, но и с гаком.

Сорванец, обдирая ногти и колени, карабкается по стволу дерева — он наторевает в мужестве; девочка укачивает куклу — она учится...

Природа ловко расставила свои загадки и сама же подталкивает: походи, потрогай, рискни, победи свою робость, боль победы, победи страх и — ты волен.

Воля — родная сестра счастья. Но счастье не приходит само — тут нужен твой характер.

В память навсегда впишется полоса детства из разноцветных пятен и белых облаков, вкусных калачей и хлебных орешков, цветогара марьиных кореньев и полынного запаха.

И тревожный шум ветра в моих снах и яви...

Запомнится и страшная гроза с градом: грозы прекрасны тем, что проходят. У нас перед крыльцом для защиты выкинули железную клюку — поймать «молонью». У соседской девочки, бегущей к нам за молоком, загорелись волосы.

...Сон сморил меня на голой земле, и я проснулся от крика птицы: коршун, унося свою добычу, чуть не задел меня крылом. Мне по сию пору чудится, что я слышу биение сердец тех птиц: и хищника, и жертвы. Торжество и жуть — в одном несущемся клубке.

...Было много смертей — в деревне они всегда на виду. На виду и похоронки с фронта. И все-таки это была счастливая пора. Более чистых снегов я не видывал никогда.

А какое высокое лето!..

В-четвертых, — ОЧАРОВАНИЕ

В двенадцать лет я впервые увидел фокусника — Льва Уразова. Это была популярнейшая личность в Забайкалье.

Хотя и возвращались фронтовики, в колхозе рабочих рук не хватало. Я работал на сенокосе в пристяжках. Перед цугом быков пристегивали лошадь, и сидящий на ней пристяжник направлял движение сенокосилки. Был я настолько мал, что меня на лошадь подсаживал косец Иван Львович. А на стане приходилось сначала влезать на забор, а уж потом на лошадь.

С утра разнесся слух — приехал фокусник «ставить концерт». Очевидцы рассказывали, что он в шляпе яичницу жарит, часы в ступе истолчет, а они потом целыми окажутся.

Мой косец Иван Львович Морозов был передовик-стахановец. Мы выезжали первыми, меньше отдыхали и кончали работу позднее всех.

Тот день был ветреным. Ходили сперва облака, потом тучи. По степи гуляли зеленые волны. Темнело. Лишь у сопок оставались светлые полосы, открывая таинственную даль, в которой покоился мир, полный чудес и загадок. Ожидание вечера сливалось с предчувствием чего-то необыкновенного.

Общий покос закончился раньше обычного, а мы, как всегда, задержались и застали безлюдный стан. Я заторопился в село. Лошадь устала, и мне ее не дали. Иван Львович с поварихой уговаривали: «Отдыхай, утре вставать рано. Вишь, как ветер рвет. Того гляди, дождь хлынет». Отказавшись от ужина, я пустился в пятикилометровый путь бегом.

Мама, выставив мне кринку с молоком, пошла к соседям занять денег. А возвратившись ни с чем, насобирала в доме пузырьков из-под лекарств, сдала в лавку.

И вот, довольный, с билетом, пробираюсь в клуб — бывшую церковь, стоящую теперь без маковицы. Только успел примоститься, на сцену вышел человек в черном костюме. Чеканя

каждую фразу, как бы сквозь зубы заявил:

— Я хочу обмануть ваше зрение. У меня в руках волшебная палочка.— Я затаил дыхание.— Сейчас она,— продолжал фокусник,— с помощью незаметных движений пальцев поднимется вверх.

Заиграла музыка — и чудо! — палочка действительно поползла. Ничего подобного я не видывал. Скептики всегда рядом, кто-то попытался разрушить очарование: «На нитке». — «Ври боле — резинка».

Но как я ни напрягал зрение, ни ниток, ни резинок не видел.

В этом здании — бывшей церкви — некогда совершались всевозможные таинства: крещение, отпевание, странно звучала ливенка хромоногого секретаря сельсовета Павла Петровича Жилина. Мы, пацаны, знали — под полом, аккуратно в том месте, где сцена, лежит огромный деревянный крест с непонятными письменами. Его в войну чуть не сожгла сторожиха Глафира Шароглазова, да побоялась Бога. «А вдруг он всамделе есть...»

А чудеса продолжались: Уразов брал у колхозников платки, принимался их стирать, а завернув мокрыми в газету, клал в шкатулку; воду выплескивал на зрителей, первые ряды шахрались, вскрикивали, но... на них сыпались конфетти. Зал оглашался гоготом. Представьте себе: из шкатулки он вынимал сухие платки. Это была сказка наяву: стакан исчез из рук зрителя, державшего его в коробке, а после того как фокусник выстрелил, оказался в чьем-то кармане в зале. Связанные предметы мгновенно освобождались от узлов. Зрители забывали свое имя. И многое другое.

Спустя двадцать четыре года я встретился со Львом Васильевичем в Красноярске. Он был удивлен, что до сих пор со многими подробностями я держу в памяти весь его репертуар...

С концерта шел обалдевшим, на плечах нес гору тайн и загадок, думал о человеке, способном делать чудеса, которые нам, смертным, недоступны. Тогда я еще не знал, что Уразов начал начальную школу в Бырке и учился у Феоктисты Ивановны Лапердиной. Теперь она учительствовала в нашей школе.

...Был у меня друг-приятель Мишка Бушин. С медным отливом волосы, веснушки, обличьем — мингрел. От природы награжден чувством юмора — оптимист. Зимой с ватагой мы катались на санках и лыжах, весной тянулись за поселке промышлять съестное, летом купались. Мы очень гордились, когда колхоз доверил нам с ним кочегарить в зерносушилке. Бывало, мастерили из шестерен старых сенокосилок самокаты с одним колесом, трещотки, машины. Заряжали спичечными головками самопалы из медных трубок, после пальбы улепетывали: за такое баловство крепко доставалось. Однажды в огороде на трех жердинах соорудили громоотвод и чуть было не спалили сенник — место, где хранят сено.

Теперь, после концерта Уразова, мы с Мишкой решили заняться фокусами. Мишкину сестру Галинку усаживали на стул, открывали ситцевый в красных цветах занавес, отделявший куть, и начинали представление. В миске с водой стирали разноцветные тряпки, потом сушили их, то есть подменяли. Наш не шибко понятливый зритель болтал ногами, шмыгал носом и обязательно чего-нибудь жевал: приходилось подкупать его. Иной раз на глазах у «публики» блеснули слезы, но не от того, что пленило наше искусство, — «она» получала трепку за нежелание смотреть концерт. Иногда «публика» смеялась: за терпение обещали такое, от чего не засмеяться невозможно.

Листая журнал «Затейник», я на-

шел описание фокусов. Радости моей не было предела. Тайно я отрепетировал один из них и положил Мишку на лопатки трюком с монетой. И это меня воодушевило...

Я опускал в баночку из-под сапожного крема пятак, закрывал крышкой. «Здесь монета?» — «Ага», — слыша стук, соглашались обступившие меня ребята. — «А теперь?» — «Елки-палки!» — удивлялись они: стука уже не было. Открыв коробочку, я подтверждал, что монета испарилась. Закрывал. «Здесь?» — «Нет». — «А теперь?» — торжествовал я. «Теперь тут!!» — еще более поражались зрители.

И вот за таким занятием меня застала классный руководитель Рева Александровна Пинигина и предложила выступить с фокусами на школьном вечере. Было лестно, но как всего с одним-то?

— Не беда, зайди после уроков ко мне домой...

До глубокой ночи я читал «Затейники», которые Пинигина хранила у себя дома. Изучил несколько фокусов, принялся за реквизит: сшил из материи и ваты разноцветные шарики, выстрогал планку с тремя дырочками посередине, между платками вшил картонный кружок, с помощью которого «на глазах изумленной публики» должен исчезнуть стакан воды.

К XXXI годовщине Октября состоялся концерт. Аккомпанировал бывший фронтовик на новом трофейном аккордеоне, который он любовно называл «инструмент». Играл он, кажется, неважно, но аккордеон просто завораживал всех блестящим видом и необычными звуками. Аккомпаниатора перед каждым номером представляли заново. Имя, отчество, фамилия. Он важно выходил, кланялся, садясь, тщательно расстилал на коленях бархатную тряпку, склонял голову на кор-

пус аккордеона, находил кнопку, вздыхал и извлекал первый звук.

Как только объявили «Выступает ученик шестого класса Переводчиков Владимир, фокусы», я хотел было уже выскочить из-за занавески, но кто-то удержал: мое выступление тоже должно сопровождаться музыкой. Поэтому вышел я не так, как репетировал. Растерялся, но постепенно увлекся. Из всех сил старался походить на Льва Уразова: после каждого трюка по-военному прищелкивал каблуками и кланялся. Ребята аплодировали: «Здорово! Чисто — Лев Уразов!» Подошел аккомпаниатор: «Ну, паря, молодец! Давай-ка и в клубе сяди со взрослыми выступи. С учительшей твоей я договорился».

Вот какой чести меня удостоили, ведь ученикам вечером не разрешалось появляться возле клуба. Удивлены были и взрослые: как это стакан воды, накрытый платком, исчез из рук и оказался в коробке, стоящей на столе? Разрезанный бинт снова стал целым? Красный и синий шарики в руках у зрителя поменялись местами? По желанию публики я мгновенно нашел в колоде загаданную карту!

Назавтра по Нижнему Калгукану пошел разговор: вот, мол, Вовка Калинин «омрачает». Это, дескать, у него от самой Кали (матери).

Я уже говорил, у нас была традиция давать всем прозвища. Меня стали звать не только Вовка Калинин, но и «кудесник», «фокусник». А один упорно именвал «присушальщиком», и я выходил из себя: так называли людей, которые могут привораживать одного к другому — «присушать». Этот настырный спросил:

— Если ты фокусник, то и присушать умеешь?

— Могу, — хвастанул я. — Кого тебе присушить?

— А вот ихого Тольку, — он пока-

зал на паренька,— к Маруське присуши.

— Но ладно.

Я-то о разговоре забыл, а настыра тут же пустил новость: Толька присушен к Маруське. А в деревне, известно, акустика будь здоров... Не прошло и недели — те двое обратили внимание друг на друга! Теперь-то понимаю: причиной их дружеского сближения, как ни странно, были мои неосторожные слова. Я еще не ведал, какое сильное и опасное оружие — слово.

Можно вообразить: пареньку сказали, что его присушили к Маруське. «Еще чего!» — усмехнулся он. Убеждать его не стали. Спросить, кто это сделал, не решился, потому что это «чепуха». Сам собой навернулся вопрос: «А какая же она, Маруська?.. А ведь она не очень-то мне глянется». Анатолий отмахнулся от этой странной мысли, как бы качнулся от нее прочь, но мысль — маятник: волей-неволей вернется. И чем сильнее отгоняешь ее, тем навязчивее она становится. Анатолий, возможно, попытался представить, как бы они с Марусей стали дружить. Тут-то он себя и поймал, «сделал установку»: запрограммировал вероятное событие.

То же самое происходило и с Марусей. Оба ждали встречи и боялись ее. А случайно встретившись, отметили про себя — относятся друг к другу не так, как раньше. Стали ловить себя на том, что стараются быть лучше, чем есть на самом деле. В подсознании установка: «Толька должен любить Маруську, Маруська должна любить Тольку».

А может быть, все было не совсем так, но факт остается фактом. Моя мать работала в сельсовете исполнителем. Ночью дежурила около единственного в селе телефона, топила печь, убирала. Кроме всего чеботарила. И если была завалена чеботарством,

просила меня насучить ей дратв и постигонок, иногда доверяла стачать союжки у сапог и ичиг. Сама садилась за шитье, а я шел в сельсовет. Клуб открывался редко (там был собачий холод), так молодежь устраивала вечеринки в сельсовете.

И вот поздней осенью по свежей порошке сюда заглянул отслуживец-солдат — наш сельчанин. С однопольчанином. Тот заехал к другу погостить.

Наш земляк не бог весть какого росту, белобрыс, в солдатской форменке, с гроздьёю медалей, малогранный, но, как у нас выражались, гонористый. Носил офицерскую (не по сезону) фуражку, мало улыбался. Он сразу привлек к себе всеобщее внимание. Засунув руки в карманы широченных галифе, сидел развальясь, ногу на ногу, то и дело смахивал пылинки с начищенных до блеска хромовых сапог «джимми», сжатых в мелкую гармошку. Как бы между прочим, он сорил «культурными» фразами, словно листьями капустного вилка. Он швырял эти листья под себя, куча росла, и, естественно, он «выскакал» в глазах слушателей. Ни к селу ни к городу звук «г» смягчал на простонародный украинский лад: бараний курдюк называл «хурдюк».

— В Хермании я научился хвокуса делать, моху один самый лехкий показать. Ну, пацаны, дайте три холонных убора.

Это был его коронный номер:

— Вот вам расческа. Я уйду, кладите ее под любой из этих уборов — я ухадаю, где она находится.

Спрятав расческу, его громко звали. Он возвращался, мощной мыслью морщил лоб, взглядом пробегал по шапкам, и его рука тянулась именно к той, под которой расческа. Бывало, расческу вообще не клали под шапку, и чудодеев говорил:

— Под некоторой.

Как-то солдат заскочил без того друга. Его тут же попросили показать фокус с расческой.

— Не моху, паря, пристал (в смысле — устал).

— Да хоть разок, вот Кеха не верит.

Солдат, как ни упрашивали, отказался.

Вскоре пришел его товарищ. И когда уже все забыли о фокусе, сам предложил показать. И тут я заметил и вспомнил, что его партнер всегда курил во время фокуса. А присмотревшись, понял, что папиросой тот указывает, под какой шапкой расческа. Под средней — папироса в середине рта; под правой — в правом углу; расчески нет — папироса вынималась из рта.

Назавтра я уже показывал этот фокус ребятишкам; мой братан Шурка во рту держал спичку. Потом стали делать еще проще — он показывал языком или поворотом головы.

Было, я просил солдата рассказать, как делается этот трюк, тот усмехнулся: тебе не понять. Теперь я радовался, что разгадал его. Шурка спрячется за печку — сверху из-за занавески подглядеть просто. Я войду — он знаками мне подскажет.

Настал вечер. Шурка за печкой. Жарко. Посидельщики собираются, а солдата-фокусника нет. Час, другой, третий — нет. Все расходятся. Шурка вылезает из-за печки мокрый, как мышь. Но неудача нас не остановила. На другой день Шурка предложил спрятаться в кабинете председателя сельсовета: дощатая перегородка рассохлась до щелей. Ключ от кабинета у меня.

В этот кабинет-каталажку я один заходить побаивался. Страх мой был полон таинственного смысла. Когда я гасил лампу, чтобы уснуть, — мне полуслышались из-за загородки голоса с какими-то мольбами. Много позже я

осознал: при мне взрослые вели разговор о том, как в однодневье в тридцать седьмом году соорудили эту дощатую пристройку-каталажку. В ней допрашивали и держали арестованных. В цифирь — магия. На войне наших сельчан погибло 57 человек, а в тартаре тюрем ГУЛАГа сгинуло 58. На одного больше. Но вот в чем странность — один все же вернулся из тюрьмы, чтобы через малолетие умереть на родине. В этой каталажке допрашивали и моего отца. А Шуркин отец, брат моего отца, погиб на войне. И кабинета Шурка не боялся.

Мы с ним даже придумали способ передачи сигнала. Он подсмострит и сунет под первую, вторую или третью доски бумажку, в зависимости от того, на какую шапку нужно указать. Никто, кроме меня, этого не увидит. Из кабинета Шурка крикнул: «Тут четыре драницы ловкие». Драница — это доска из расщепленного дерева. Мы прорепетировали с четырьмя шапками.

И вот Шурка под замком. От удовольствия потираю руки. Но и в этот вечер фокусники не появились. На следующий Шурка наотрез отказался сидеть в каталажке: темно, холодно. Тогда я пообещал цветные карандаши. Согласился. Я принес моркови: Шурка любил похрустеть.

Молодежь уже в фанты играет, а фокусников нет. Вдруг слышу, из кабинета — хрясь да хрясь! Шурке скучно, принялся за морковку. Я хватаю морковь и начинаю хрумкать громче его. Тот под шумок совсем наглеет. Благо, на нас никто не обращает внимания, захвачены игрой. Шурка справился с морковкой, затих.

Кто-то вспомнил о фокуснике. Подходящий момент. Я вызвался показать фокус с расческой, причем с четырьмя шапками. Выхожу за дверь. Возвращаясь, шарю глазами по полу. Бумажки нет. «Расчески под шапка-

ми нету», — уверенно заявляю я.

Представьте, расчески не оказалось. И второй раз не увидя, говорю: «Обратно нету». — «Пошто же нету — тама». И верно... Неужель Шурка проморгал?.. После новопопытки меня поднимают на смех. Чуть не плача, скрываюсь за печкой. Расходятся. Бросаюсь в кабинет. Шурка, завернувшись головой в одеяло, похрапывает на канاپели — так называли деревянный диван.

Назавтра приходит солдат-фокусник: «Дак чо, Владимир, ховорят, ты вечор хотел меня переплюнуть? Сказано же, у те, паря, не получится». Я покраснел. «Ишь ты, — засмеялся солдат, — на ушах-то блины жарить можно, вишь, как раскалились!» — «Вчера не получалось, а седни получится», — сказал я. «Ну ты и самохва-ал!»

Я знал, сегодня Шурка на страже. И вот четыре шапки, под какой-то расческа. Я угадываю один, два и пять раз. Солдат в растерянности. Народ теперь уже над ним потешается. Он лихорадочно оглядывает публику: кто подсказывает? Меняет шапки местами, просит всех отвернуться — я неизменно угадываю.

До окончания вечеринки он подавленно молчал, а я ходил гоголем, не осознавая, как обидел человека. В опустевшем сельсовете он попросил показать еще разок. Вместо шапок взяли старые газеты... И тут он предложил мне поменяться секретами.

— Я-то твой знаю... — с папиросочкой.

Больше солдат при мне никогда не показывал этот фокус.

Шурка заработал карандаши — честно.

Очарование. Как теперь утверждать, что же сильнее действовало на меня: впервые увиденные фокусы или первый кинофильм. Раннее детство — это чудесный мир. И даже

в бесхлебье, когда живот присыхал к позвоночнику, требовались чудеса. Одно из них — кино. Там тоже показывали чудесную жизнь, далекую от реальной. Кино уводило мальчишек военной поры в дальние странствования, в волшебные сказки. Оно дало возможность сражаться вместе с Чапаевым, Пархоменко, Корчагиным, Александром Невским. Оно учило страдать чужой болью, распознавать добро и зло.

Меня потрясла кинокартина «Адмирал Нахимов». Заглавную роль играл Алексей Денисович Дикий — первый актер, которого я запомнил по фамилии. Назавтра, копируя манеру его игры, стоя за партой, я командовал: «Лево руля!» Фуражка с высоким околышем и коротким козырьком, усы из газеты дополняли впечатление. «Сбоку шибко нашибаешь на Нахимова», — лестили мне соклассники.

С той поры я пристально следил за актером Диким. Мне легко давалось копирование его яркой речевой манеры. Индивидуальность легче имитировать. В «Третьем ударе» и «Сталинградской битве» Дикий сыграл роль Сталина. И с пластинок я выучил несколько его речей.

Мое воображение поражало перевоплощение киноактеров — не только Дикого, но и Черкасова, Мордвинова, Щукина, Бабочкина. Я был по-детски влюблен в киноактрис: Любовь Орлову, Елену Кузьмину, Лидию Смирнову, Марину Ладынину, Зою Федорову.

Я видел волшебство: Кутузов, Нахимов, Сталин — все они не походили друг на друга и вместе с тем в каждом я узнавал и не узнавал Алексея Денисовича Дикого.

Не от мира сего люди существовали на земле, и загадки их искусства самые очаровательные. И актеры, казалось мне, были люди не от мира сего.

Хорошо быть актером!!!

В-пятых,— СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

В каком же году это было?.. Зима—пурга за пургой. Суметы (сугробы) подле заборов намело такие, что мы, прорыв туннели, свободно ходили под ними.

Отыграли елку; ее заменил срубленный в школьном саду тополь. Дедом Морозом была завуч Ольга Семеновна Шароглазова. Ватная борода, брови и шапка скрывали лицо, но мы сразу узнали ее. Приняли условия игры и старались верить, что это в самом деле Дед Мороз.

Каникулы, как начались весело, так в кутерьме и проходили. С утра до потемок — ветер и стужа нипочем — мы пропадали на сопке, с санками, с лыжами. Прыгали с трамплина, бывало, ушибались, обмороживались, но не унимались.

Трещали крещенские морозы. Едва минула неделя после елки — появились «мошкарровщики». Так называли участников карнавала. В этом слове прослушивается и «маска», и «скоморох», и «скарамуш». Все они перевоплощались кто в кого: в чертей, ведьм, домовых, козлов, медведей, стариков и старух, парни переодевались в красных девиц, а те — наоборот. Ходили шумными ватагами из дома в дом, куролесили: пели, плясали, выкидывали хлесткие шуточки-шутки. Короче, сбрасывали с себя накопившуюся за повседневными заботами «дьявольскую» энергию.

Хозяева их встречали радушно, потчевали и давали гостинцы. Первейшая задача «мошкарровщика» — чтобы его никто не узнал.

В деревнях, где озорство осуждалось, этот обычай был отдушиной. Он идет от языческих культов и похож на украинские колядки, описанные Гоголем. Впрочем, в старину он так и назывался «коляда». «Колядун» и

«колдун» — как я уже упоминал — из одного гнезда. Праздник давал право за весь год напроказничать, дать волю творческому остроумию: у кого сани затащут на баню; у кого бочку от дома откатят и приморозят в улице; дрова с места на место перешвыряют; трубу ведром околпачат; дверь подопрут... Наутро выйдут на улицу и всем селом покатываются от смеху. И никто не вправе обижаться.

По приходу святок начиналась ворожба. Гадали на картах, на бобах, на кофейной гуще, «выливали судьбу» топленным воском в холодную воду, сжигали бумагу и смотрели на тень, отброшенную обугленным куском.

Однажды у нас устроили спиритический сеанс — гадание на блюде. При свершении любого таинства требуется много условностей и строгих правил. Скажем, самый хваленый целебный препарат не так-то легко достать, и чем труднее, тем он действеннее: точный психологический расчет. В данном случае — нужно «достать» фарфоровое блюдечко без рисунка, фотокарточку того, с духом которого собрались беседовать, и восковую бумагу. Поводом для ворожбы была как раз та самая восковка со схемой гадания: ее привезли откуда-то издалека.

— Помоги прибраться, — попросила меня мама, — вечерка ныне будет, у нас, суседи на ворожбу придут.

Срубили лед с киток — соломенной обивки, скрученной трубой по краю двери для утепления. Мама дожелта выскоблила пол, прибрала в избе. Настелила сена. Я наносил дров, заправил лампу керосином, затопил печь. И мы стали ждать гостей.

Скрипнула дверь, из паров появилась румяная, торжественная Нюша Бушина — Митрошихина. В селе много было однофамильцев, естественно, повторялись и имена. Было три Нюры

Бушиных, два Петра Шароглазовых, в нашем классе три Тани Мурзиных — в школе их называли на царский манер: Таня Первая, Вторая, Третья. У Ньюши мать — Митрошиха. По матери либо по прозвищу легче было ориентироваться в именах-фамилиях.

Нюша Митрошихина подала маме завернутое в тряпицу блюдо:

— Вот, сватья Каля, блюдечко я достала настоящее, канфоровое, Назарьевна дала. — Нюша скинула катанки, бросила их под койку, поточила ладошки, потом рдяные щеки и устроилась на табуретке возле очага. — А Лидуха че, не приходила?

— Вон гумагу ворожейску притащила, — сказала мама, — пошла домой подчепуриться.

Наставив на меня глаза-глазищи, Нюша осведомилась:

— Ты тоже с духом будешь разговаривать? Баскую кралю тебе нагадаем...

Новый клуб пара вынес соседку Шурку Михалеву, она с ходу принялась изучать сведенную на восковую бумагу схему ворожбы, на которой было нарисовано два, один в другом, круга. На большом — буквы, в середине — черта, поддерживающая ряд цифр от ноля до девяти. Вслед за Шуркой пришла мать Агафья Константиновна, сообщила, что ушли за фотокарточкой.

Скоро в избенке сталолюдно. Говорили, курили едкий самосад, вспоминали случаи верного гадания:

— Эвон Марей Морозиха в девках ворожила на своего Константина на святой воде да на обручальном колечке и, что вы думаете, девоньки, — увидела его... ей-богу!

— Дак я и сама гадала, — вступила в разговор Глафира Шароглазова, — сидела я тогда, сидела — ни холеры... Думаю, враки все это. А вода возьми и помутней, одали облако за клубилось в стакане! Аж сердце за-

холонуло! Потом выблеснуло колечко, а в ём Кеха мой в военной форме. Вскорости его письмо.

Пришла Лида, моя двоюродная сестра, принесла с собой кучу бодрости и веселья, угостила всех жевательной серой, в избе поднялось шелканье, хохот. Теленок, лежавший в углу, проснулся и стал жевать чью-то шаль. Я отобрал, отодвинул подальше от него ворох одежды. Старшие женщины зашикали на молодич — больно расшумелись.

Мы с Илькой забрались на печку. Взрослые на чистую скатерть расстелили восковую бумагу, подсунув под нее маленькую фотокарточку умершей девушки. На меньший круг наложили вверх дном блюдо с нарисованной сбоку стрелкой. Помыли руки и расположились вокруг стола.

Рядом с бумагой стояла керосиновая лампа. По стенам задвигались причудливые тени, изгибаясь на потолок. Гадальщики, положив пальцы на блюдо, чтобы нагреть его, замерли. Всех охватило ожидание. В ушах стоял отзвук недавней говорни и смеха.

Ветер шарашился за стеной, поскрипывал в трубе. Потрескивали окна, нарисованное на них морозом тревожно обездвижило. Лишь телок в углу беззаботно похрумкивал жвачку.

— Дух, появиись! — странно изменившимся голосом повелела Глафира. И все еще больше напряглись. Нервно фыркнула Нюрка Шароглазова, и ее тотчас высадили из-за стола. Через несколько минут блюдо вздрогнуло и зашевелилось. Волна изумления всколыхнула комнату. Кто-то поспешил задать первый вопрос:

— Святой дух, скажи, как тебя называть?

Блюде задвигалось по восковке. Повернувшись стрелкой в сторону буквы «д», на мгновение застыло. Потом показало на «у»... Святой дух со-

общил, что его следует называть «Дух».

— Скажи, Дух, как зовут меня? — спросила Зинка.

Блюдце указало на «з», и несколько голосов подтвердили:

— Ну-у-у.

— А как зовут жениха Файки Ку-тенковой?

— Куз... — ответил Дух, и все нетерпеливо согласились:

— Ага, Кузьма!

Стало быть, Дух не врал.

— Ва-а-ай! Эка диковина! Что делается!.. — качали головами женщины и девочки.

Сменялись «медиумы», а блюдце работало без устали — выдавало деревенские сплетни и предсказывало будущее. Спорило, а на каверзные вопросы бранилось.

Лиду Переводчикову предупредило опасаться любви. Нюше Бушиной предвещало долгую печаль, а на вопрос, выйдет ли замуж она, категорично сказала: «Нет». Марии Чумаковой посулило дальнюю дорогу. Я намеренно выделил те предсказания, которые, можно считать, сбылись.

— Сколько лет осталось мне жить? — задала вопрос мама.

Стрелка побежала по ряду цифр: 9 — 8 — 7... Почти остановилась на 4, затем прошла мимо 3 и указала на 2. Два или двадцать?.. Постояв, блюдце вернулось в исходное положение.

К моему горлу подкатил комок. Я посмотрел на маму: не то улыбка, не то какой-то мираж покоился на ее губах. Медиумы, посредники между людьми и миром духов, избегали встречи с ее взглядом. Неловкую паузу мама сломала веселым голосом:

— Володьку хошь еще подрасту маленько. Я-то думала, что вот-вот помру...

Конец гаданья я забыл. Только помню, когда почевали и все разошлись, наступила нестерпимая тишина. Печь

уже потухла. Сквозь оттаявшие окна чернели ставни. Теленок, уткнувшись в холодный угол, спал. Мама старалась быть беззаботной, но это ей плохо удавалось.

Вскоре она начала тосковать, часто задумываться. Ко мне стала еще внимательнее: засобиравшись в «дальнюю дорогу». Иногда в наших разговорах наступала пауза, и наверняка оба мы думали об одном и том же.

Через сколько-то месяцев заскрипели половицы нашего домика.

— Верная примета, сын, — дом вызывает нас с тобой. Тебе надо к сестре Пανε собираться. Вот кончишь школу и поедешь. Уломаю я Ивана Григорьевича, чтоб отпустил тебя из колхоза (что по тем временам было непросто). Там рудник скоро откроется — устройшься на работу. Подучить бы тебя еще, да вишь — ни сил нет моих, ни мочи.

Помирать маме не хотелось. Даже в самые критические для ее здоровья годы, проявив волю, травами-кореньями излечилась от язвы желудка. А когда в очередной раз мы с ней ходили в поле долбить картошку и попали в буран — она простудилась. После воспаления легких открылся туберкулез. Так же самоизлечилась, заодно выходила и соседка: готовила экстракт из столетника (алоэ). Пили они тарбаганий и сурчинный жир, ели мясо этих зверьков, что противоречит вере. Победа над этими недугами далась не даром: надвинулось необратимое — изнашивалось сердце.

Предсказание не сбылось, но оно принесло кучу неприятностей. Гадание, говорят, бегство от проблем. Зачем в затруднительных ситуациях думать, искать разумный выход, когда проще положиться на магию: бросить жребий, сворожить, разгадать вещий сон, обратиться к гороскопу. И все же попробуй однозначно ответить, почему сильна тяга к гаданиям, сильна вера

в предопределение. Человек постоянно испытывает потребность в информации, в снятии груза неведения. Стремится к предвидению.

Чего проще — упрекать легковых в ограниченности, осуждать людей, взявшихся читать чужие судьбы. Но ведь нужно и понять, почему все-таки люди верят в гадания.

...Почти по колдовским обычаям на отшибе у села, за речкой, подле самых далеких Посельских ключей жила Ольга Михалева. Ее одинокий домик стоял на самом дуване — ветряной стреле долгой долины Аджиги. Пустые углы дома да куча ребятишек окружали эту вдову. Два сына на войне. Помощница-кормилица — неокрепшая дочь, доярка Дена. И та, можно сказать, инвалид: девочкой обелась каких-то ядовитых корней — ее парализовало. Светло-скосило глаза, нарушилась координация движений. Но девушка не приняла скорбного вида инвалидки. Ни стоны, ни жалобы. Вся ее жизнь — работа в колхозе. Помогала матери тянуть младших.

Ольга Михалева обладала красным словом успокоения и особым даром разгадывать сновидения. Не отказывала людям в просьбе прочитать их судьбу. Таким манером было легче мыкать свое горе.

Болезнь неведения — один из самых несправедливых недугов: появляется он от длительной душевной неудовлетворенности. Человек заболевает только оттого, что просто не уверен в своем будущем. На его психику долгое время действуют раздражители отрицательного эмоционального характера.

Война ежедневно делает свое дело. Основное ее «творение» — жертвы. Родные воинов в тылу в постоянном напряжении: не выпал ли страшный жребий на долю их отца, брата, сына? Одно из средств самоуспокоения — гадание. Игра голоса интуиции, иног-

да разлад с логикой. Охотнее всего люди склонны верить вещим снам. Каждый из своей практики готов припомнить «сон в руку». Вещие сны обычно связывают со свершившимся событием. А что каждую ночь снятся другие сны, в расчет не принимается. Постоянное внимание на каком-то мучительном вопросе может действительно разрешиться в сновидении. А уж про деревенские случаи говорить нечего.

И вот за километр-два, а то и больше, по непогоде, по пурге идет тоскующая бабенка, несет за пазухой калачик к чаю. Она надеется узнать судьбу мужа (сына): сон был загадочный. Выложит Ольге исстрадавшуюся душу, получит толику успокоения, расскажет новости села. Ольга ей расскажет, что сама слыхала. Отогреются чаем. Ольга и «сон расфигурит, и на картах бросит».

Освобожденная от тоски, бежит бабенка домой или на колхозный ток, принимается за дело. А то было руки опустились. Судьба-то, оказывается, у нее не хуже, чем у других. Не зря составители учебника гаданий называли его «Друг тоскующих».

Тоска и грусть не оскорбляют человека, но ему всегда хочется от них избавиться. Сколько бы мы ни получали новостей — мы постоянно находимся в информационной проголоди. А состояние неведения можно сравнить с душевной дистрофией.

Необходимо и общение. Вот почему, например, в Монголии встретившиеся в дороге два путника (знакомые или незнакомые) слезают с лошадей, садятся на землю и беседуют... если есть о чем. Хотя могут и просто дружно помолчать. И это у них одна из самых уважительных причин для задержки в пути.

Говоря о сегодняшних событиях, люди вспоминают навсегда ушедших близких и знакомых и подчас обраща-

ются к ним: чего бы посоветовал
усопший. Помогает!

Некоторым иногда просто хочется
поиграть в диалог с миром непоколе-
бимым — потусторонним, им хочется
опереться на него... «Как верит солдат

убитый, что он проживает в раю» (из
песни Булата Окуджавы).

Спиритический сеанс — сон
разума — произвол интуиции.

Что честнее: интуиция или логика?!

Кому как.

Владимир Куропатов

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ

ДВЕ АННЫ

В магазине большого села Богдановки произошел конфузный случай. Старуха Анна Самарина, или по-уличному просто баба Нюся, купила буханку хлеба, кило пшена и месячную норму — одну пачку — грузинского чая по талонам. Складывая покупки в сумку, перемолвилась словом с товарками и пошла домой. Однако с полпути вернулась встревоженная и от порога с осуждением продавщице, которую тоже звали Анной:

— Да, тезка, я подала тебе чайные талоны, чтоб ты один отрезала и остальные возвратила. А ты чего-то все забрала.

— Отдала я их тебе, — отозвалась продавщица, взвешивая сахар. — Поищи хорошенько.

— Да чего нет, хоть ты заищись, — едко улыбнулась баба Нюся.

— Не знаю, не знаю, — сказала Анна безразлично.

Это безразличие оскорбило старуху.

— Вы гляньте на нее: не возвратила и ничего не знает она. Вот и оставайся до конца года с чем знаешь.

— Да не нужны мне твои талоны! — возвысила голос продавщица.

Баба Нюся тоже возвысила голос:

— Вот и возврати, коли не нужны. Как я без них в такую-то лихую пору? Талоны — документ государственный. В войну вон я работала в лесхозе разнорабочей, дак хлебные карточки...

— Хос-поди! — Продавщица, всплес-

нув руками, ударила себя по крутым бедрам, неприязненно уставилась на старуху, дескать, ну как тебе, бестолковой, доказать, что не нужны мне твои талоны? А глаза старухи насмешливо поощряли: ну доказывай, доказывай, тезка, — послушаю. Анна обозлилась, подбоченилась и выпалила спесиво в блеклые старушечьи глаза, как главный свой козырь выбросила:

— Да я этого чая и без всяких талонов возьму, сколько захочу. И никого вас не спрошу!

— Вот уж правда, тезка. Спасибо, раскрылась перед людьми и все доказала, — сурово и сухо проговорила баба Нюся. А в это время чья-то рука протянула ей подобранные на полу, уже затоптанные чайные талоны. Приняла их старая, и так нехорошо, так конфузно сделалось на душе...

* * *

В начале следующего месяца баба Нюся Самарина, придя в магазин, попросила буханку хлеба, печатку хозяйственного мыла и подала те затоптанные чайные талоны:

— Один, тезка, отрежь, остальные — возврати. — И засмеялась коротко, как бы винясь за давешний свой конфуз.

Продавщица Анна, не взглянув даже на талоны, насупленно — не простила обиду. — спросила:

— Сколько?

— Чего? — не поняла баба Нюся.

— Чаю тебе — сколько?
— Дак норму, сколько ж, — подвинула талоны поближе к продавщице.

— Уже без нормы. Бери сколько знаешь.

— Свободно, что ль? — удивилась и обрадовалась баба Нюся и заторопилась забрать талоны. — Тада давай две пачки. — Подумала: две — это талонная норма до конца года, а на октябрьские праздники обещался приехать сын Геннадий, надо будет одарить его чайком, может, в городе-то талоны не отменили еще. Да и Верунье с Валентиной, дочерям, тоже передать надо. — Али давай уж, тезка, четыре.

Продавщица поставила на прилавок четыре пачки. Пока щелкала на счетах, баба Нюся подумала: «А талоны-то пропадут теперь, что ли?» И опять подала их, сказала вкрадчиво:

— Отоварь, тезка, и их.

— Отменены они, говорю, чего отоваривать-то.

— Дак тада как? — пришла в замешательство старуха.

— Если надо, бери хоть двадцать пачек.

— Да на что мне двадцать-то. Пущай и другим достанется. А талоны куды ж теперь?

— Хос-поди! — сокрушенно выдохнула Аня. — Да выбрось, и все дела!

— Как это выбрось? — испугалась баба Нюра, живо взяла талоны, сунула в карман жакетки. Ей всегда помнились военных лет хлебные карточки. Такие же синие, как и эти чайные талоны. Вся ее жизнь и детей зависела от маленьких квадратиков, и потому берегла их пуще, чем себя, — за Бога, за иконку прятала. — Как выбросить-то! Это ж документ. Государством даденный. На нем печать стоит. А потому — отоварь, — потребовала и протянула Ане талоны.

Анна, как в тот раз, глаза в глаза,

скорбно уставилась на старуху: ну ничегошеньки уже не смыслишь. И читала во встречном взоре: да, тезка, с годами поистратила соображение, но чтоб совсем уж ничего не смыслила — неправда. Чудесно понимаю, что чаю опять стало много, бери сколько твоя душа пожелает. А с талонами что? Ведь в них, как во всяком документе, — сила. Не простая, а — государственная. Вот этого-то тебе понять не дадено...

Продавщица выхватила из скрюченных, заскорузлых пальцев старухи талоны, ненавистно скомкала их, швырнула куда-то в сторону, потом швырнула на прилавок две пачки чая.

— Отоваривайся! — Щелкнула костяшками. — Двенадцать восемьдесят с тебя за всё.

Баба Нюра развернула платочек, пожаловалась:

— Дак не хватает у меня. Только вот десятка да пятачок. Как теперь?

— Думай — как. Да поживей — очередь вон за тобой.

— Дак что, тезка, думать. Убавь, наверно, две пачки.

Продавщица взяла две, только что выставленные.

— Не энти, — возразила баба Нюра. — Энти талонные. Бери свободные.

— Да какая разница-то, — уже не в силах возмущаться, сказала продавщица.

— Та и разница, что энти свободные, а энти — талонные, — пояснила баба Нюра...

* * *

Шла домой, думала: молодая ты, Анна, не пережила и малости того, что на мою долю выпало. И слава Богу, девка. А с другой-то стороны плохо — цена жизни тебе неведома. Говоришь, мол, сколько захочу, столько и возьму, никого не спросясь. Чем похваляешься-то? Или уж никакой ни

перед кем отчетности нет. Или все, чем торгуешь, как дождь с неба сходит. Ой, не закидывай шибко высоко голову — споткнешься, не ровен час, никто не знает, что нам Господом уготовано.

...Девятого мая Анна Самарина, как узнала о победе, сгребла в охапку сына и двух дочек и заголосила — дала волю, выпустила наружу чувства, которые копились в душе все четыре года. С одним ложилась, с одним вставала: жив — не жив? Вон уже сколько баб распатланных откаталось по полу. А ее Тимофея Господь все миловал. Случалось, подолгу писем не было, потом приходили. Последнее Анна получила позавчера: жив-здоров, вот-вот фрица одолеем и — домой...

Вот наконец-таки и одолели. Стала ждать мужа. Проворной сделалась, прямо помолодела, будто спало с плеч все, что эти годы давило. И про себя, в сердце, радовалась перед овдовевшими товарками: ее муж жив и невредим.

Поторопилась, рано, ой рано впустила в сердце радость: пятнадцатого мая в хмурый моросный день пришла на Тимофея похоронка. И слегла Анна. Ни печь затопить, ни воды принести — совсем, всерьез помирать собралась. Подумывала уже батюшку позвать, чтоб отсоборовал. Один раз девчонок отправила со старухами в тайгу за колбой — в доме-то шаром покати: ни картошки, ни капусты, ничего — весна. А Генашке — шесть годков мальчонке было — подсказала, как достать из-за иконки хлебные карточки и деньги, и отправила в магазин: «Дядя Костя хлеба тебе даст, а девчата колбы принесут. Вот и поедите. Да смотри, сынка, чтоб собаки буханку не отобрали». Побежал Генашка. Вернулся в слезах и без хлеба, без карточек, без денег. «Отняли? Кто?!» Вот теперь уже совсем ложиться да поми-

рать. «Не реви. Кто отнял-то?» — «Дядя Костя», — говорит. «Да не может быть! Потерял, поди, негодник?» — закричала на парнишку и вскочила с постели, как и не болела. «Нет», — твердит, — дядя Костя забрал карточки и деньги и сказал: ступай домой. А хлеба не дал». Да это как же?! Константин Ковшов, фронтовик, серьезный человек... Схватила сына за руку: а ну, пошли. Это что же, в людях уже совести не стало? Если уж и Константин... Из проулка вышли, и — вот на этом самом месте — Константин Ковшов навстречу. В одной руке костыль — еще в сорок третьем на деревяшке с фронта пришел, под мышкой другой — буханка хлеба. Шагах в пяти остановился. Красный от натуги. Костылем в землю ударил. «Что ж ты, девка, так халатно ведешь себя? Судьбу семьи в ручонку мальчика вкладываешь. — И пошел, и давай честить. Отдал буханку. — Чего подхватила-то? Слыхал, хвораешь». — «Хворала. Теперь вот излечил ты меня». — «Во как. — Улыбнулся, вытер рукавом лицо. — Ну, ступай. Да думай наперед, Анна». И повернул назад... Словом, конфуз вышел.

«Ах, Константин, Константин, — вздохнула баба Нюся, — царствие тебе небесное».

Вот он-то, тезка, не похвалялся перед людьми, мол, могу, никого не спросясь, хлеба взять так, без карточек. Хотя, наверно ж, брал тихонько. Нужда на это толкала — вон какая оравница-то у него была. А вот ты, Анна, напротив, от сытости и довольства своевольничаешь. Да еще и гоноришься тем.

А что я бестолковая, то твоя правда. Изжила свой век.

— А все ж какое-никакое соображеньице еще осталось, не отнял Господь, — проговорила вслух баба Нюся и свернула в свой проулок.

с
Во
сво
ка
уж
ры
по
Ал
дв
зо
ня
др
Си
бр
об
П
ро
—
пор
мо
так
пое
бат
вид
вра
зач
чит
нав
под
Др
Да
сов
ра
Да
тов
—
ло
ло
под
хуж
—
Ста
—
риш
пого

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ

В середине шестидесятых годов светлой памяти Александр Никитич Волошин, автор широко известного в свое время романа «Земля Кузнецкая», в узком кругу рассказал (забыл уже, по какому поводу) эпизод, который я излагаю так, как он мне запомнился.

Ранней весной 1930 года прибыл на Алтай в числе других уполномоченный двадцатипяти тысячник Сидоров (назовем его так) — проводить в деревнях сплошную коллективизацию. У других дело шло не бог весть как, у Сидорова же — за милую душу. Чем брал? Каким свойством, средством ли обладал?

Приходил в деревню, собирал народ, держал речь:

— Значить, мужики, а также бабы, пора начинать новую светлую и, знамо дело, зажиточную жизнь. Значить, так говорит товарищ Сталин, хватит, поединоличничали, помыкали горе, побатрачили на кулака-миroeда. Ликвидируем его под самый корень как вражеский исплотаторский класс и зачнем сообща жить колхозом. А значить, кто желает добровольно идтить навстречу колхозной заре, дружно подымай руки... Так, одна... две... Две. Дружней, дружней, мужики и бабы. Да вы что, едришкина шишка! Ведь совместная обработка земли, трактора и всяческая коллективная жизнь. Даешь поголовную добровольность, товарищи крестьяне!.. Ну!..

— Мы пока воздержуемся, — несмело отвечали мужики. — Вишь ли, дело новое, незнаемое, надоть погодить, подумать. А то как бы не того — не хужа.

— Чего годить-думать? Товарищ Сталин, говорю, что вам говорит?

— Дак оно, конечно, говорит товарищ Сталин двиствительно верно. Но погодить — будет не во вред.

Сидоров так и этак убеждал крестьян, сказку про умирающего отца, сыновей и веник рассказывал, мол, люди спайкой сильны. Однако мужики стояли на своем:

— Надо поглядеть, как эта спайка у других пойдет, а потому — погодим.

— Да на кого ж вы глядеть будете, если все, как вы, годить станут?

— Так опять же, дело-то — добровольное.

— Правильно. Вот и подымай добровольно руку. Ну, дружней, мужички!

— Не, погодим мы...

Другой в такой обстановке как начинает действовать? Вспомнит Господа Бога да кулаком об стол — хрясь!.. Уполномоченный Сидоров не из той породы дуrolомов был. Крик да гряк, считал, делу не пособник.

— Значить, — спрашивал Сидоров, — слово ваше окончательное? Не записываетесь в колхоз?

— Маненько погодим...

— Жаль, мужички. Шибко, как говорится, жаль. — Некоторое время уполномоченный о чем-то отрешенно думал, издавал тяжкий вздох, после чего как бы нехотя запуская руку за голенище сапога и вытаскивал...

— Что, по-вашему, Сидоров вытаскивал? — помню, спросил нас Александр Никитич Волошин.

Мы в ответ:

— Наган, наверное.

— Нет.

— Гранату?

— Нет.

— Тогда какой-нибудь грозный документ.

— Не угадали. И не угадаете...

Вы тоже не угадаете. А потому говорю: доставал уполномоченный Сидоров из-за голенища самую обыкновен-

ную, черную телефонную трубку! Прикладывал к уху, говорил в нее, кашлянув:

— Алé. Алé, барышня? Здравствуй-ка, душа моя. Эт уполномоченный Сидоров с Алтая говорит. А соедини-ка меня, милая, с товарищем, значить, Сталиным.— надо с ним покалякать по одному пустяку... Добро, красавица, жду... Алé! Товарищ Сталин?! Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Это уполномоченный по сплошной коллективизации Сидоров с Алтая. Да, я... Дела? Отлично идут дела, Иосиф Виссарионович,— везде стопроцентная добровольность... Конечно, товарищ Сталин, в семье, как говорится, не без уroda. Сейчас, значить, я в Ивановке. Провел по всем правилам агитацию, а товарищи мужики говорят, мол, хотим погодить... Что?.. По всем правилам, товарищ Сталин, ласково, местами с прибаутками, в три приема. Ответ один: погодим. Вот такая, значить, политическая закавыка получается. Мое мнение, в этой Ивановке контра и другой элемент верх держит... Да, товарищ Сталин... Что? Отдадите приказ? Бонбить Ивановку?! Товарищ Сталин, одну ми... Минуточку, Иосиф Виссарионович! — Уполномоченный Сидоров прятал трубку за спину, вспокоенно и яростно шептал собранию: — Беда, мужики! Вождь дюже осерчал на вас — вы ему всю картину коллективизации портите. Сейчас из Барнаула прилетят ерапланы и станут вас бонбить. Решайте насчет добровольности!..

Собранием овладевал ужас. Бабы ударялись в вой и плач. Мужики подавались вперед, к столу уполномоченного.

— Слышь, записывай. Мы — согласные...

— То-то, братцы. Ой, слыхали б вы, как он...— Сидоров опять прикладывал трубку к уху.— Товарищ Сталин, конечно, извините, но, может, не надо

бонбить, а? Значить, пока мы с вами разговаривали, они покумекали и уже согласны... Знамо дело, товарищ Сталин,— вполне добровольно... Хорошо... скажу, передам... сей же час... До свидания, Иосиф Виссарионович.— Утирая шапкой лоб, Семенов запикивал трубку за голенище. Позабыв про собрание, долго о чем-то думал. Очнувшись, улыбался народу: — Чуть, братцы, не позабыл. Товарищ Сталин велел передать вам горячий привет и, как говорится, всякие пожелания... А теперь, значить, подходи записывайся. Только давай без толкучки...

«СЕНИ НОВЫЕ, КЛЕНОВЫЕ, РЕШЕТЧАТЫЕ...»

Расскажу вам случай прямо-таки редкостный и необычный. И вместе с тем до того же знакомый, до того нашенский... Впрочем, судите сами.

Значит, прошлым летом выкроил я из твоего отпуска аж целую неделю и поехал в родную Тимофеевку, откуда я «есть пошел», где доживает свой век моя мама.

Пошло все, как и мечтал. Утречком выпивал кружку парного молока и шел хозяйствовать: поправлял ограду, перекрывал шифером баню, красил ставни, ремонтировал крыльцо, сколачивал Тузику новую конуру, ходил в магазин... Разговаривал с односельчанами, со сверстниками, которых не сразу узнавал, и грустил: годы, годы... А перед сном отводил душу с мамой: вспоминали, рассуждали, вздыхали, смеялись...

После обеда непременно отправлялся на речку — удить, как когда-то, словно в иной жизни, сорожек. Сидишь на травянистом бережку, притаив дыхание и предвкушая радость удачи, цепко смотришь на поплавок и ждешь: вот сейчас, сейчас он дрогнет, отчаянно запрыгает, и ты резко

возьмешь удище на себя, и из воды вырвется трепетное серебряное сверкание.

Спускался я к речке самой короткой дорогой — мимо строящейся школы. Наконец-то и в моем селе вместо деревянной развалюхи будет новая кирпичная, трехэтажная. Стены выведены уже под крышу, однако сейчас что-то тишина и безлюдье на стройке. Может, материалов нет, может, еще что. Но вот однажды спускаюсь на рыбалку и вижу: белобрысый, шуплый, средних лет рабочий долбит с наружной стороны фундамента большую, примерно сорок на сорок, дыру. Наверное, маху дали, заранее не предусмотрели, и теперь вот рабочий долбит — неспешливо, прилежно. И поет:

— Ой вы, сени мои, сени, сени новые мои... — И так же сердечно у него это выходит.

Часа через три поднимаюсь обратно. Рабочий поет те же «Сени» и долбит. С помощью шлямбура и молотка уже настолько углубился в бетон, что и голову в дыру всунул. Хоть и не богатый, а — сноровистый.

Спускаюсь к речке на следующий день. Рабочий поет свои, видно, очень любимые «Сени» и долбит, уйдя в дыру с плечами. Во отгрохали фундамент! У нас неписанный закон: строим сортир — ставим его во избежание возможных неприятностей на такое основание, которое и небоскреб выдержит.

Под вечер поднимаюсь домой. Слышу приглушенные стук и пение и вижу торчащий из дыры брезентовый зад. Хм. Да что за притча! Подошел. Потерял грубый брезент:

— Перекури, друг!

Рабочий перестал стучать, вызволил себя из сотворенной им норы, осмотрел меня с удивлением, сказал укоряюще:

— Думал, прораб приехал, а тут...

Некурящий я — понял? — И сделал движение, чтобы опять лезть в нору.

— Погоди. Объясни мне: что делаешь-то?

— А что, дядя, велено, то и делаю, — ответил подчеркнуто учтиво.

— Велено-то что?

— Что-что! Прораб начертил мелом, сказал: «Долби, Василий. Наскрозь». Вот я и долблю.

— Дыра-то для чего?

— А шут ее знает. Мне это без надобности... Ладно, некогда... — И полез в нору.

А я спустился в подвал и сразу же убедился в том, что и предполагал. Вернулся, подергал снова за штаны.

— Слышь, Василий...

— Ну, — недовольно отозвался рабочий.

— Вылезь-ка. Дело серьезное.

— Какое дело, да еще сурьезное? — Нехотя выпятился из норы, привалился спиной к фундаменту.

— Ты внутри коробки бывал? Вишел фундаментную ленту поперечную этой?

— Ха! Как бы не видел, если сам ее заливал.

— Так вот стену ты уже пробил и теперь идешь по поперечине.

— Очень может быть, — невозмутимо возразил Василий. — Ну и што из того?

— А то, что, говорю, на поперечину попал.

— Значит, на поперечину, — кивнул согласно. — Мне велено: наскрозь.

— Ошибся твой прораб, понимаешь? Не там мелом квадрат начертил.

— Где ему виднее, там и начертил. А мое дело — исполнить.

— Да на что она, дыра, через всю поперечину? Ты подумай.

— Интересненько! А чего я-то должен думать? Думать — дело начальниково. А мое, говорю, — исполнять. Велено — наскрозь, я и долблю наскрозь.

— Василий, бесполезную работу делаешь. Между прочим, я тоже про-
раб.

Брови Василия поползли вверх, лоб наморщился.

— Вместо Софронова, что ли? — Выпустил из рук инструмент, поднялся на ноги.

— Да нет. Я в том смысле, что тоже строитель по профессии.

— А-а! — щеки Василия разъехались в улыбке. — А то я было напугался.

— Чего?

— Неужли, думаю, Софронова сняли? А нам с ним хорошо. От него голова не болит, он на мозг не давит. Дает команды, мы — исполняем. И — нормально.

— Но вот дал он тебе команду, а она — ошибочная.

— Один только Бог не ошибается.

— Прораб ошибся, а тебе переделывать.

— Известно, переделывать.

«Малохолный, что ли?» — мелькнула мысль. Говорю:

— Брось пустую работу делать.

— Не-е. Софронов насчет этого строгий. Ему выработку дай, иначе... Словом, проверено... — Василий выморкался в сторону, утер рукавицей нос, поднял молоток и шлямбур и полез в нору, напевая: «Сени, новые, кленовые, решетчатые...»

На другой день я направился было к реке окружным путем, минуя строящуюся школу. Однако любопытство взяло верх: что там Василий? И я свернул на прежнюю дорогу. Признаком его присутствия вроде никаких. Неужели понял наконец глупость того, что делает?

Я приблизился к щербатому жерлу норы. Заглянул в сумерки ее и сразу различил пупырчатые подошвы ботинок, услышал приглушенное «тук-тук-тук...» и — задушевное пение про сени...

Вспомнилось гоголевское «Скучно на этом свете, господа!»

ДОПОДЛИННО

В неухоженном сквере перед районной автостанцией сидят на лавочке двое. Один пожилой, угловатый, обветренное лицо, выгоревшие до белизны волосы, шершавые толстопа-
лые руки. Стародавний — с острыми лацканами, — но совершенно еще новый костюм выглядит на нем как-то неуместно, слишком празднично. Справа от него на лавочке большая со вздутыми боками изрядно потертая дерматиновая сумка. Слева сидит второй — помоложе, судя по всему, горожанин, немного навеселе. Говорит:

— Так-так. Значит, говоришь, в гости к дочке поехал?

— Да вот снарядился. К младшей. Она близко в Прокопьевске живет. А младшая, та... К младшей надо аж трое суток ехать...

— Далеко-о-о. Поди, деревенских гостинцев везешь? — горожанин кивнул на сумку.

— Знамо дело. Без гостинцев — как? Непродолжительное молчание. Горожанин закуривает и опять обращается к пожилому:

— Так, говоришь, по правде живешь?

— По правде, — охотно и прямо отвечает пожилой.

Собеседник пристально смотрит ему в глаза.

Пожилой, думая, что ему не верят, спокойно с достоинством подтверждает:

— Всю жизнь по правде жил. Доподлинно.

Горожанин внимательно оглядывает костюм пожилого, туфли, тоже стародавние-новые и неуместно праздничные, переводит глаза на сумку с гостинцами.

— Верю. Всея, как говорится, душой. Только одного не пойму.

— Это чего же?

— Если по правде век живешь, то почему ты до сих пор по миру не ходишь, а?

Пожилой сразу не понял вопроса, ступешался было, но уже в следующий миг сообразил. Засмеялся негромко:

— И это доподлинная правда. Всю жизнь жил и всю жизнь сумы боялся. Да Бог миловал. Так-то, брат...

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ

Был на небольшом машиностроительном заводе, случайно познакомился в мехцехе с Петром Никаноровичем Столешниковым. «Самый простой электрослесарь». Это он сам о себе так сказал. В действительности же это искусник, колдун, какими Всевышний никогда не обижал православную Русь. К примеру, смастерил Петр Никанорович небольшое устройство — и у него обыкновенная ножовка по металлу сама пилит. Отпилит, что велено, — три раза тоненько свистнет: дескать, готово, какое еще будет задание? Для кузнецов сработал механическую руку, которая ловко вынимает из горна раскаленную железку, аккуратно кладет ее на наковальню и держит при ковке. Чтобы войти в мехцех или выйти, нужно козырнуть двери, отдать честь, и она уважительно отворится перед вами. Много разных придумок Столешникова внедрено в производственных цехах. И все неожиданные, оригинальные.

И сам Петр Никанорович человек оригинальный: лет пятидесяти пяти, малого росточка, пухлотелый (отсюда прозвище его — Петя-пончик), выражение лунообразного розового лица по-ребячески непосредственное, глаза голубые, искристые, речь мелодичная,

окающая. При разговоре то и дело конфузливо смеется, как бы стыдась своей душевной распахнутости...

Увлеч меня Петр Никанорович. Шел по длинной улице, ведущей от завода к автобусной остановке, мечтал: выберу время, познакомлюсь с ним поближе и расскажу о нем в газете.

День был знойный, душный. Захотелось пить. Вижу, в одном дворе человек закончил бросать в угларку уголь и теперь смывает из шланга пыль с бетонного тротуара. Подвернул:

— Можно напиться?

Человек — сухопарый, жилистый, седой — молча протянул мне шланг. Вода прямо ледяная, видно, скважинная. Сделал два глотка — заломило зубы. Вернул шланг. Не утерпел, похвастался:

— Только что на заводе с Петром Никаноровичем Столешниковым познакомился. Может, знаете такого?

— Петю-пончика? Как не знать, лет пятнадцать в мехцехе работали вместе, — сухо сказал человек.

— Вот как! Расскажите что-нибудь о нем.

— Что именно?

— Он меня как выдумщик, рационализатор интересует.

Человек продолжал смывать с тротуара угольную пыль, потом дотянулся до вентиля, перекрыл воду.

— Как рационализатор, говоришь? — Вперив взгляд под ноги и скрестив руки на груди, углубился в длительное раздумье. Наконец поднял на меня серые, глубоко сидящие глаза, они светились нетерпением и потайным лукавством. — Я тебе всю его подноготную скажу. Значит, живет Петя-пончик вон, — указал пальцем через улицу наискосок, на дом, отличающийся от других домов, как мне показалось, неуловимой похожестью на хозяина. — Так вот, жена его, Маруся, еще год назад взяла у моей

жены ступку что-то там истолочь, да и с концом — по сей день не ворачивает. А поэтому какой Петька-пончик рационализатор! — Человек добавил к сказанному смачную непечатную фразу, поднял шланг, открыл вентиль. Струя воды со змеиным шипением стала разбиваться о бетон, орошая мои сандалии и заставляя меня пятиться за калитку.

ПОТРЯСАЮЩИЙ АФОРИЗМ

Гриша и Миша работали в небольшой конторе идеологического фронта. Однажды — лет десять назад — они выпивали, как это было заведено в ту пору, прямо на работе в рабочее время. Один из них, уже хорошо захмелев, изрек:

— Они, — кивнул в сторону обкома партии, — хотят зажечь массы без факела, без спичек, без искры — одним своим дуболомным холодным словом. Выпьем за этот мой потрясающий афоризм!..

Выпили. Потом еще. И еще потом. И все говорили о «потрясающем» афоризме. Договорились до того, что забыли, кто из них его изрек. И со щедростью интеллектуальных богачей стали оказывать друг другу честь считаться автором «потрясающего» афоризма.

— Конечно, извини, Миша, но выдал это ты.

— Извини, Гриша, но такое не по моим мозгам.

— Миша, ты ошибаешься...

Заходили сослуживцы, о чем-то справлялись по делу то у Гриши, то у Миши. Гриша с Мишей походя отвечали и наперебой произносили сослуживцам «потрясающий» афоризм, тыкали друг в друга пальцем:

— Он сотворил!..

— Никогда в жизни! Он...

Авторство афоризма в тот день так и не было установлено.

А на другой или третий день Гришу и Мишу, естественно, по одному и в тайне друг от друга вызвали «куда надо» и задали каждому один и тот же вопрос:

— Кто произнес так называемый афоризм?

— Не знаю, но только не я, — ответил дрожащим голосом Миша.

— Не знаю, но только не я, — ответил дрожащим голосом Гриша.

Ничего такого ни Мише, ни Грише не было — отделались испугом и настоятельным советом позабыть напрочь «так называемый афоризм». Они так и сделали — позабыли.

А вот теперь вспомнили. Сам Бог велел вспомнить. И меж Гришей и Мишей идет неугасающий спор:

— Извини, Гриша, но тот потрясающий афоризм выдал я.

— Ну уж извини, Миша. Манера подачи и стилистика в том потрясающем афоризме — мои...

НА ПЕПЕЛИЩЕ

В знойную июльскую пору разом дотла сгорели — почти впритык стояли — дома Мельниковых и Петерсов.

В окружении истошно голосивших жен, жавшихся к ним в страхе и поскуливающих ребятишек, скорбных односельчан Василий Мельников и Федор Петерс, оба бледные как полотно, непрерывно и жадно курили, молчали и отупело смотрели на пепелище. Долго курили и молчали. Наконец Василий швырнул окурочек в лениво чадающие головешки, сплюнул ему вдогонку, сунул коробок спичек в один карман куртки, а из другого вынул пятирублевую бумажку. Печально улыбнулся.

— Хрен с ним со всем, сосед. Ай-

да к бабке Тимонихе — успокоительных капель примем.

Петерс не ответил. Тоже сунув в карман коробок, он нащупал там гвоздь. Извлек. Гвоздь был небольшой — пятерка, изогнутый почти под прямым углом. Вчера Федор сколачивал кормушку для кроликов. Этот самый гвоздь, угодив в сучок, искривился. Федор выдернул его, машинально положил в карман. И вот теперь сосредоточенно рассматривал его.

— Хм, — усмехнувшись, тряхнул головой Петерс, — выправить и можно начинать обзаводиться.

БЕДА

Старику Федору Игнатьевичу сын Владимир — работает шофером — привез в обеденное время машину старых шпал на дрова. Закончилась смена, поставил Владимир машину в гараж и прямым ходом к отцовскому дому — стаскать шпалы во двор. Подходит и видит: сухой, сутулый, со впалыми щеками, сидит отец на шпале и плачет.

— Ты чего это, пап?

— Беда, сынок...

— Что такое? — встревожился Владимир.

— Говорю, раньше-то... я б их, как полешки... А сейчас, — Федор Игнатьевич с досадой пристукнул слабым кулачишком по шпале, — от земли оторвать не могу, ровно из железа, проклятые, сделаны... Съела, сын, старость силы, как огонь солому, — закрыл лицо руками, зарыдал, как ребенок, у которого отобрали что-то самое дорогое его сердцу...

ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ

...Помнишь, Славка, анекдот: русские на работе говорят о женщинах, а дома с женой о работе. В данную ми-

нуту я, ха-ха-ха, не русский. Потому что сижу на работе и буду тебе рассказывать о ней, то есть работе. Делать что-то ничего не хочется, лучше я немного поплачусь тебе в жилетку. Значит, дела у меня идут ни шатко ни валко. По самой простой причине: работать некому — такой народец подобрался. Значит, кроме меня, зава, как ты знаешь, в отделе еще пять человек. Сейчас я тебе каждого охарактеризую и ты все поймешь.

Начну со Стрекалова. Откровенный лоботряс и прогульщик. Вот и сегодня не нашел дорогу в контору, которая его худо-бедно, а кормит. Я б его давно в три шеи выпер, но шеф мой Игорь Макарович (рассказывал я тебе о нем при встречах) говорит: Стрекалова трогать не смей, он молодой специалист, на его стороне закон. А закон не любит, когда его без особой надобности нарушают — греха не оберешься. Так что у тебя один путь, Алик: воспитывать (шеф меня не Олегом Николаевичем, как уже все, называет, а всё Аликом. В душе злую, но ведь шеф же так называет, поэтому делаю вид, что мне страшно нравится). Ага, Стрекалова воспитает. Но делаю вид, что воспитываю лоботряса — морали ему почитаваю. Не идти же против воли шефа. Это, ты знаешь, не в моей натуре.

Теперь про Уварову. Вст, напротив меня сидит. Пень пнем. Ну ничегошеньки уже не соображает. Одно на уме — самой же придуманные болезни да экстрасенсы. Шеф говорит: «Христос терпел и нам велел. Давай, Алик, потерпим. Ей до пенсии полтора года осталось. Это ж сущие пустяки по сравнению с тем, что я ее терплю вот уже двадцать лет... Эх, Алик! Ты парень нетрепливый, поэтому тебе по секрету скажу: у меня ведь с ней такой романище был! Прямо «Война и мир»! Стоила, стояла она того, чтобы и воевать за нее и со многим ми-

ряться ради нее...» Вот такой, Славка, шеф у меня.

Идем дальше. Телегин. Балабон из балабонов, но больше всего потаскун. От него что от козла молока. Так я — со смехом, конечно, — и говорю шефу. Шеф в ответ тоже смеется: «А нам с тобой, Алик, и не надо его молока. Проживем до ста и дальше на тех дефицитах, что нам тесть Телегина регулярно поставляет...» Может, тоже слышишь: из коридора хохот доносится. Это Телегин о своих вчерашних похождениях мужикам рассказывает.

Следующий Харитонов. У этого не голова, а ЭВМ. Не он бы — всю контору, не только мой отдел, закрывай. Но... Сидит в своем углу и думает, что если я пишу что-то, то ничего вроде и не вижу. Вижу. Полстакашка пропустил для тонуса и дальше трудится. Так с понедельника до пятницы. Да и черт бы с ним. Но то в вырезатель залетит, то с женой судится-разводится, то еще что. А повоздействовать никак нельзя, даже шеф ему словечко построже сказать не может — сразу же психанет и в кооператив уйдет. Тогда нам одно — закрываться.

Ну и, наконец, Красильников. Этот — дурак. Конечно, не в прямом смысле... А если честно, то очень совестливый и довольно неглупый. Составил план реформы всей конторы. Дельные вещи предлагает. Не бредовые. Но страшнее бредовых. Если их принять и внедрить, то вся контора должна будет в поте лица хлеб свой зарабатывать. Конечно, хороший хлеб. Но, к примеру, в моем отделе, — я тебе уже про всех рассказал, — кто способен в поте-то? И в других отделах то же самое... Шефу Красильников надоел уже со своим планом, и он мне на днях шепнул: «Готовь на него компромат — надо с ним прощаться». Изготовлю. Это проще простого. Сидел бы, говорю, дурак, да и сидел, так нет...

Вот такая у меня гвардия. Про себя молчу. Неприлично про себя. Да ты и так все про меня знаешь... Слушай, Славка, меня чего-то шеф требует к себе. Минут через десять вернусь и — продолжу...

...Привет, Славка, продолжаю. Но не через десять минут, а через две недели. И не за своим заводским столом сейчас я сижу, а... В общем, если коротко, вызвал меня тогда шеф и говорит: «Сколько ты в завах сидишь, пять лет?.. Пора, брат, пора, Олег Николаевич. Назвал он меня впервые по имени-отчеству, и я все понял. Накануне зам его, Медведев, в отставку подал — семьдесят два старикашке, — правильно, пора и честь знать. Слушай, что мне шеф сказал при сватовстве: «Верю, что ты, Олег Николаевич, будешь верным моим замом: воду вокруг меня ты не мутил, правду не искал, с реформами не лез. Сработаемся».

И вот я уже две недели не зам, а зам. Уже освоился. Доказательство этому то, что письмом тебе дописываю в приятной тишине своего нетесного кабинета. Кабинет шефа — за стеной. Кстати, у шефа моего в почках обнаружили камни. А возраст его — шестьдесят шесть. Так-то, Славка! Ну ладно, главное я тебе сообщил и закругляюсь. Тут от телегинского тестя персональный посланец пришел, ха-ха-ха! Так что некогда. Бывай. Привет семье. Пиши...

МАША ПЛАКАЛА

Было это в начале шестидесятых в городе Осинники. Третьеклассников принимали в пионеры. Приняли всех, даже Олега Самусенко, а Машу Новоселову не приняли. Девочка горько плакала.

Я хорошо знал Машу. Всю большую семью Новоселовых знал. На зарпла-

ту отца, токаря, было не прожить. Выручал огород. Выращивали разные овощи и продавали на базаре. Старшие ребята подносили, мать торговала. А Маша помогала ей. Однажды мать отлучилась в магазин за продуктами, Маша осталась за нее продавать огурцы: рубль за кучку. И случилось, что в это самое время по базару шла Машина учительница. Увидела за прилавком Новоселову, нахмурилась, покачала удивленно головой и пошла дальше — ничего не сказала.

Но ничего учительница и не забыла. Когда обсуждали, достойна или не достойна Новоселова быть пионеркой, учительница сказала:

— Считаю, не достойна. Учится примерно, но торгует на базаре огурцами. Разве можно быть одновременно пионеркой и базарной торговкой. Пусть исправится...

Тогда Маша и заплакала. Ведь получилось, что она хуже даже Олега Самусенко.

Олега я тоже знал. Еще в первом классе отличился тем, что украл у технички десять рублей. Его, можно сказать, за руку поймали, а он бессовестно говорил, что нашел. Бессовестный был. И хитрун большой. И лентяй. Учился с тройки на двойку, говорил, что, когда он пишет или читает, у него болит голова. В третьем классе стал одалживать школьникам деньги. Но не просто так. Скажем, одалживал рубль, а отдавать ему должны были рубль двадцать. Его водили к директору и отчитывали. Он сказал: «Больше не буду. Честное-пречестное слово!»

Когда Олега принимали в пионеры, учительница сказала:

— По поведению Самусенко исправился, но учится пока слабо. Две двойки за четверть.

— Я исправлюсь! — пылко заверил Олег. — Честное-пречестное!..

— Класс тебе верит, Самусенко, — сказала учительница. — Не подведи.

И его приняли. И он давал торжественное обещание, что будет жить так, как завещал Ленин, как учит Коммунистическая партия. А сам, как и раньше, одалживал деньги и требовал за каждый рубль уже по тридцать копеек — десятник за риск набавил.

А Машу прозвали в классе Торговкой. И она часто втихомолку плакала...

Сейчас Маша Новоселова живет в том же городе, что и я. Изредка перебиваемся. Работает Маша швеей на фабрике. Прозвище ее, Торговка, осталось там, в Осинниках. Здесь ее одарили новым — Староверка — за то, что не разуверилась ни в людях, ни в порядочности их, что от работы не отлынивает, не халтурит, не хитрит, что с ученицами возится, как с родными дочками, хотя ее никто не заставляет, что ни лоскутка, ни нитки не унесет домой, что цветы в цехе развела. Кто же Новоселова, как не Староверка? Маша над своим прозвищем смеется, однако смех ее горький.

На днях я позвонил ей:

— Читала, Маша?

— Как же, всей семьей читали, — вздохнула она. — Как так можно-то?..

В одной газете была напечатана статья о проделках коммерческой фирмы «Медиана». Ее деятели ходили по заводам и фабрикам: «Женские, французского производства сапожки, вот такие, — показывали образцы, — надо?» Сапожки были загляденье, цена вполне приемлемая, срок поставки — месяц. Женщины теряли головы и раскошеливались... Прошел месяц, прошел другой, сапожек не было. А там выяснилось, что и «Медианы» уже нет и глава ее Олег Самусенко как сквозь землю провалился вместе с двенадцатью миллионами рублей, собранными под французскую обувь. Обнаружился Самусенко аж в Петрозаводске, где

в качестве главы фирмы «Психея» собирал с доверчивых мам деньги под закупку импортной детской одежды... Недавно над Олегом и его сотоварищами был суд. В своем последнем слове Самусенко говорил: «Граждане судьи! Я все осознал и больше не буду — честное-пречестное...»

ПЕРЕПОЛОХ

Владимиру Мазаеву — писателю, с которым мы ранней весной у меня на даче прикрепили к черемухе дупляной скворечник.

И вот в середине мая в том скворечнике засверчали хором птенцы. День ото дня все сильнее и пронзительнее. И требовательнее. Родители с зари и до зари без передыху таскали им корм, но — как в прорву: орут-надрываются чада, все им мало жучков-червячков.

Я целыми днями сидел за столом, стучал потихоньку на пишущей машинке. Когда у меня не складывалась какая-нибудь фраза или не отыскивалось, как ни рылся в голове, нужное слово, глядел в распахнутое окно на черемуху. Нет, я, конечно, знаю, что слова на ветках не висят, но — такая уж у меня привычка. И вот как-то в очередной раз глянул на черемуху и увидел: темно-серый, желторотый, высунул голову в летное окошечко и зыркает по сторонам. Я подивился про себя: «Ишь ты, смельчак какой». А вслух по-свойски — соседи же как-никак — предостерег:

— Смотри, не вывалишься, дуралей.

А он мне сверху заносчиво так и непочтительно:

— Сам дуралей! Делаеть свое дело, ну и делай — ври дальше. — И опять завертел головой по сторонам. Во негодник.

Тут прилетел скворец с червяком и прямо в окошечко, а в нем — голова

чада-смельчака, который мигом рот во всю ширь, — и червяк исчез в нем. Скворец что-то строго-строго прошептал своему юнцу и полетел за новым червяком. А желторотый стал опять зыркать по сторонам. Глядь, родительница летит, желторотый рот во всю ширь — и червяк туда...

— Э-э, — догадался я, — смельчак-то ты смельчак, но еще, оказывается, и хитрун большой: высунул-то, чтоб тебе одному весь корм доставался. А на братьев-сестер тебе, видно, начинать. Нехорошо, стыдно.

— Нехорошо! — слышалось мне, чирикнул воробей, прыгавший по веткам рябины.

— Стыдно! — пискнула синичка, пролетая мимо скворечника.

— Оч-чень нехор-р-рошо! — прострекотала сорока, вертясь на колу.

Вот как оно. Еще не жил, а уже дожил: потерял желторотый стыд и все птицы осуждают его. Но ему, похоже, и на это начихать. Висматривает отца-мать и от нетерпения наполовину уже из окошечка высунул. Желая ему — какой уж он ни есть — добра, я опять предостерег:

— Ой вывалишься. А кот Тимоха соседский цап-царап тебя.

Желторотый опять непочтительно и заносчиво:

— Ага, жди — вывалился! А про кота не сочиняй. Привык на бумаге... Ты давай правду пиши.

— Обещаю, — сказал я неприязненно, рассердившись на хитруна, и склонился над клавишами. Только склонился — вдруг отчаянно-пронзительный ор и шлепок о землю. Вскочил, выглянул в окно, так и есть: заносчивый хитрун, распутив непослушные еще крылья, барахтался в траве под черемухой. «А если и в самом деле, — мелькнула мысль, — кошка?!» Глядь, и точно: с соседского огорода вдоль забора пробирается, весь напружинясь, рыже-полосатый кот Тимоха. Тут

мешкать нельзя! Перемахнул через подоконник, швырнул в кота комочек земли.

— Брысь!

Тимоха — вот уж кто хитрун-то настоящий — вздрогнул только и будто ни в чем не бывало сел на задние лапы, прищурился на меня ну очень почтительно: дескать, здравствуй, соседushка, а денек-то сегодня — прямо радость.

— Брысь, тебе говорят, мошенник! — И ринулся к желторотому. Он зашипел яро и — от меня. Я — за ним. Он метнулся в малинник и затаился там. Я меж кустами туда-сюда — не видеть, не слышать. Где ж ты, негодник!? А Тимоха, вижу, опять напружинился и сторожко крадется к дальним от меня кустам малины. Я опрометью наперерез коту. Заслышав мои шаги, желторотый выпорхнул из своего укрытия и ошалело — прямо на Тимоху; увидев его, сообразил: нельзя! Повернул назад... Если рассказывать коротко, то желторотый изрядно меня помял, пока я его изловил. А когда изловил, стал изо всех сил трепыхаться в моей руке и долбить клювом палец. Да больно. Откуда только сила такая. Отыскал я глазами лестницу, направился за ней. И вдруг! Не поверите. Скворцы, синицы, воробьи, дрозды, сороки и даже одна ворона — непонятно откуда взялись! — стаяй над моей головой. Вьются, галдят, негодуют:

— Что делаешь, злодей! Он же немышлениш! Отпусти, или мы тебя!.. Втянул голову в плечи, сгорбился, в одной руке птенец — все долбит мой

палец, в другой — лестница. Кое-как приставил ее к черемухе. Полез вверх. Птичья стая негодует, от взмахов крыльев развеваются мои волосы. Один дрозд, не увернись я вовремя, точно выключил бы глаз. Добрался кое-как до скворечника, сунул в окошечко птенца, который напоследок слабо уже, но щипнул мой палец. Подтолкнул его, и он мягко шлепнулся на дно...

И все, как обрезало — тишина, ни звука надо мной. Поднял глаза: птицы расселись кто на коньке дома, кто на заборе, кто на этой же черемухе. Вид у всех сконфуженный, виноватый, дескать, сразу-то мы не про то подумали — не сообразили, промашка вышла.

А я смотрел на них и крепко уважал — за отвагу, спайку, за братство. И, признаться, ощущал себя в этом же братстве.

А на крылечных перилах соседского дома сидел кот Тимоха и шурился на меня — насмешливо и хитро. Впрочем, хитрость — это его способ существования. С ним все понятно... Да и с желторотым понятно. Его хитрость, как и заносчивость, непочтительность, от младенческой неопытности и простодушия. А так он хлопец что надо. Вон как, кроха такая, сражался со мной, великаном. По малиннику угонял, аж дыхание сбилось, палец истюкал весь. Нет, настоящий из него вырастет скворец, что надо вырастет.

Внутри скворечника и кругом тишина. Переполох кончился. Можно опять садиться за машинку.

Александр Панфилов

ДВА РАССКАЗА

ТОЙ ТЕПЛОЙ ОСЕНЬЮ

Такая холодная бесснежная осень. Морозы под тридцать и ни снежинки, земля замерзала совсем по-человечески, видно — как ей плохо без одежды, а я два месяца назад накопал в саду лунки и посадил несколько яблонек — голые прутики так трогательно торчали из земли, я ходил вокруг них и представлял, как трепетной листвою покроются они к лету, как быстро будут тянуться вверх, крепнуть, расцветать, вот только бы, заклинал про себя, снега побольше да зиму помягче — теперь, наверное, они умрут.

Город серый и неприкаянный — как будто после долгой войны — и люди под стать ему, с желтыми встревоженными лицами, с нехорошей яростью в глазах, — я сегодня ехал в промороженном автобусе и от нечего делать слушал чужие разговоры, которые все об одном — об отсутствии продуктов, о карточках, о дороговизне, о голоде, который будет, — я подумал: неужели все так серьезно? Неужели это я и это моя страна стали такими? — мне не хотелось поверить в разговоры людей, — и я не поверил, сказал себе — Господи, какая чепуха, зачем они преувеличивают?

Не поверить было просто — я давно не читаю наших крикливых газет и в город, где можно чего только ни наслушаться, выбираюсь редко, по де-

лам, которых с каждым днем все меньше.

За городом ничего этого нервного нет, там действующие лица не меняются со временем — небо, земля, река, деревья, я давно и нахально пытаюсь вклиниться в этот ряд действующих лиц, но безуспешно — я слишком смешон в своей невечности среди них. Стою, опершись на калитку, смотрю вдаль, хочу вырасти до горизонта — за обледеневшей рекой волнами плывут замерзшие поля, кромка леса словно проведена тупым фиолетовым карандашом, а солнца нет, только низкое-низкое небо. Холод металлический какой-то, пронизывающий, так всегда бывает, когда снег запаздывает, — нет, и тут нет сегодня покоя, все та же городская тревога, а ветер посвистывает так раздраженно...

Я знаю, как уйти от этой тревоги. Просто нужно убрать пять прожитых лет, — отпраздновать годовщину той теплой осени, когда все еще были живы и все еще были вместе. Я бегу в дом, к жаркой печке, достаю из шкафа бутылку рислинга, устраиваюсь в кресле. И вот уже пепельница поближе подвинута и полон до краев стакан — прощай, тревога, я обманул тебя сегодня. Господи, как я люблю свою память, я безмерно ее люблю. Спасительница моя.

Мы встретились, как и договаривались, утром на Ленинградском, у дверей загса. Ты была солнечная и растерянная, а я немного заторможенный, потому что все не мог поверить в то, что должно было случиться. Нам с тобой давно хотелось жить вместе, но всякий раз, когда до решения оставался только шаг, что-то мешало, и эпоха незавершенного действием желания тянулась слишком долго — мучительно долго: я боялся расстаться со своей милой свободой, а ты все никак не могла решить окончательно, тот ли я принц, которого ты ждала. Нет-нет, мы что-то пытались предпринять — я втолковывал тебе, что похож на непреступную крепость, которая трубит на весь свет о своей непреступности, а сама только и мечтает о том, чтобы сдаться на милость победителя, — ты понимала, конечно, что победителем, чьей милости я жажду, я называю тебя... Когда оставался один, то убеждал себя, твердил, как заведенный, — люблю, люблю, люблю, — убеждал и не получалось убедить до несомненности. Но был еще третий человек, которого я полюбил сразу, с первой встречи, без сомнений, — это твоя мама, наша мама. Я, кажется, не встречал до того такого светлого человека, наша мама была как дар, мною не заслуженный, и я старался быть достойным этого дара, не огорчать ее. Но все-таки огорчал, мы огорчали — пока мы с тобой чертили замысловатые траектории, не умея сойтись в одной точке, наша мама, любя нас, исправляла их и тратила на это исправление немалые силы, она была уже тяжело больна тогда, силы покидали ее, их нужно было экономить, но она не желала экономить, она была щедра — удивительно щедра. А мы были глупы — удивительно глупы. Прости нас, Господи, прости неразумие наше.

Все-таки мы встретились с тобой у дверей загса на Ленинградском —

ты солнечная и растерянная, а я заторможенный. На дверях висела табличка с надписью «закрыто» и чуть пониже рукописное приложение: «Извините, сегодня мы не работаем». Учет у них, что ли, пытался пошутить я, но у тебя уже появилось мерзлое выражение лица, я не любил тебя такой, потому что сам рядом с тобой такой против желания становился злым и раздражительным. Нет, это знак, сказала ты, это значит, что ничего не нужно, мы ошиблись и мы чужие. Ах, так! — сказал я безмятежно будто бы. — Ну, тогда — пока! — закурил сигарету и не оглядываясь пошел по проспекту. Я талантливо играл, потому что в душе происходило стихийное бедствие, а ноги были ватные, но опыт игры у нас с тобой был богатый — и сторонние люди ничего не замечали, даже когда мы были в полуобморочном состоянии.

Я долго шел и опасался, что останется сердце, — вдруг ты налетела сзади, обхватила меня со спины руками. Прости, шепнула ты, поедem в другой! На Бутырскую? — спросил я. На Бутырскую! — восхищенно сказала ты. На Бутырской двери, слава Богу, были открыты, и мы быстро подали заявление — процедура была незамысловатая, мы только немного поспорили о фамилиях, но это было не важно. Все произошло вполне буднично, ожидаемой торжественности в душе я не испытал — а так, словно играли в занимательную игру. Невзаправду. И когда ты сказала на улице — ну вот, через такое-то время ты будешь моим мужем, — я рассмеялся. А ты моей женой, сказал в ответ, мы будем мужем и женой — настоящими... Теперь вместе посмеялись. И поехали, разумеется, в салон для новобрачных — нам выдали в загсе волшебную книжечку-приглашение.

Я, кажется, ничего не придумываю — наша мама в загсе и после не-

го была вместе с нами, хотя и работала в это время на другом конце города. Я все воображал, как мы будем сообщать ей о предстоящей свадьбе, и немного нервничал, страшился. Я уже пару раз довольно серьезно предлагал тебе свои руку и сердце — на, говорил, бери, а один раз инициатива была твоя, такая трогательная, взволнованная инициатива, — то есть мы давно бродили где-то на черте, не решаясь переступить ее. Но и не только не решаясь, — всякий раз, когда ты говорила об этом с нашей мамой, она отвечала — нет-нет, не нужно, и ничего странного в этом не было, потому что иногда я запивал жестоко и вел себя безобразно, недостойно, — наша мама не доверяла мне такому. Тем более что я часто говорил, что таким больше никогда не буду, самому жутко надоела эта тоскливая карусель, а потом снова вдруг становился таким. А ты у нашей мамы была единственная, свет в окошке.

В конце концов у меня появился комплекс по поводу маминого «нет-нет», и, бродя с тобой по салону для новобрачных, щупая французские пиджаки и югославскую обувь, я держал в руке книжку, где была указана точная дата нашей свадьбы, и много фантазировал о том, как вечером мы будем говорить о случившемся решении нашей маме, придумывал какие-то убедительные слова, жесты, приличествующее событию выражение лица и прочую чушь и сильно боялся маминого непонимания.

Оказывается, я ошибался в своем страхе, пропустив бесчувственно важную перемену в мамином ко мне отношении. Оказывается, я был ужасно слеп, потому что наша мама все прекрасно понимала и желала нам только добра, а мы с тобой не понимали ничего, были совсем бестолковыми — как новорожденные котят. Мы не понимали самого главного — наша мама

в полном сознании замыкала жизненный круг и, зная о близкой смерти, замыкала его удивительно мужественно — она видела нашу беспомощность и не хотела нас оставить неустроенными, а однажды поверив в меня, свои последние силы тратила на нас, незаметно, очень тактично выстраивая нашу будущую жизнь — любовной помощи нашей мамы мы по глупости и бессердечию своему не замечали и тянули кто куда, надрывая сердце ее.

Вина наша велика, мама ушла от нас, она теперь где-то — где нет боли, а лишь свобода, — и жизнь наша, увы, не задалась. Но последняя вера нашей мамы в меня — как спасение, она сильно помогает мне жить — жить по возможности порядочно.

Про эту веру — словами простыми нужно.

К тому времени шел уже второй месяц, как я переехал на вашу дачу, полчаса на автобусе от метро «Пушкинская», очень удобно для человека, у которого не слишком много дел в Москве. Стояла благословенная осень — с листьями желтыми и багряными, с солнечными бликами, с тихими шорохами в лесу. Я был задумчив (природе отзывчиво соответствуя), не мог насытиться прозрачным воздухом, полным осенних запахов, и проводил дни в праздной лени. Жил Пушкиным, последними его стихами, у меня была целая сумка книг о нем, я их неторопливо читал и перечитывал и думал о том, как невероятно случайна встреча с Богом, как непредсказуема — и если, думал я, она все-таки случилась, если Бог незримо вошел в твою жизнь и ты вдруг каждой клеточкой своего существа почувствовал чудесную одухотворенность окружающего тебя мира, — как трудно сохранить в себе душевный покой,

благодать эту, как трудно быть зорким и не попасть в тайную ловушку, не прельститься лукавыми соблазнами, которыми дорога перед тобой полна... Учился молиться я тогда — и был счастлив несказанно, открывшись зовам Его навстречу, сбросив броню, в которую заковал себя сам. Зовы эти я слышал везде-везде, какая музыка в мире, восклицал я, а мы не слышим — почему? Брал велосипед и на целые дни уезжал в лес, кодеса по заброшенным тропинкам до изнеможения. Какой добрый мир, какая тихая радость.

Иногда приезжала ты, а с тобой наша мама, ты была нервная и неприступная, а мама улыбалась. Ее слабая, чуть уловимая улыбка, которая была не только на лице, но всею ею, беспокоила меня неразрешимой загадкой, я очень любил эту улыбку, а сформулировать ее (у меня была не ушедшая еще тогда страсть все формулировать словами) не получалось.

Я разгадал ее намного позже — когда мы с тобой непоправимо расстались, а нашей мамы уже не было рядом. Я сильно и долго болел и временами впадал в отчаяние — казалось, что, чем жить так, лучше вообще не жить. Я не боялся смерти, страх был поглощен безмерной усталостью моей, но всякий раз, когда до последнего шага оставалось совсем чуть-чуть, я отступал, потому что боялся не своей смерти, а боли близких людей. Представление о своей смерти есть не догадка о том, что будет с твоей душой, — с тех пор, как я почувствовал Бога в себе и вокруг себя, я потерял вкус к подобным фантазиям, — нет, представление о смерти есть представление о горе близких, и, зная наверняка меру этого горя, я ужасался до страшных сердцебиений, почти до обмороков, и тяжесть вины от поступка, который я замысливал, была невыносима. Однажды, я стоял возле

зеркала, равнодушно уже смотрел на новые морщинки, появившиеся у глаз, и подумал — да-да, а как ни верти, все равно это неизбежно, — я подумал так и улыбнулся слабой улыбкой, — и вдруг меня словно током ударило — я улыбался улыбкой нашей мамы! Это была разгадка — улыбка нашей мамы была улыбкой вины за то, чего не в силах человеческих избежать, вины за будущее горе своих близких, за необходимое их великое страдание, которое не в твоей воле отвести. Мама, мама, подумал я потерянно, если бы я был умнее тогда... А что случилось бы, если бы я был умнее тогда, я не знал. Как помочь любимому человеку, даже когда понимаешь, что мучит его? — не ответить. Молиться за него?

В очередную субботу вы появились на даче, и я не узнал тебя — с твоей насупленностью, к которой уже стал привыкать (зная за ней другое), что-то случилось, она рассыпалась, открыв настоящее — нежность твою, ты перестала вдруг скрывать ее. Мы устроили санитарный день. Я носился как очумелый по саду, собирая мусор, сгребая жухлые листья, я нагреб целую кучу и запалили большой костер. От огня, как всегда, стало весело — я прыгал вокруг него первобытным дикарем, размахивал руками, строил зверские гримасы, а вы готовили на столике под навесом какие-то салаты и смеялись. Потом свалил умершую березку, распилил, разрубил ее на поленья. Потом бросился за яблоками — их уродилось в тот год невероятное количество, и все — спелые, огромные, я мыл их и складывал в таз, таз торжественно приволок к столу — итак, сказал я, сегодня у нас праздник урожая, и принялся резать яблоки — в стороны брызнул сладкий сок. А салаты были уже готовы, и мы с оптимистическими тостами отобедали под голубыми небесами — легко

было, хорошо. Мимо стола опрометчиво шмыгнул ежик — это был наш квартирант, целая семья ежей жила под домом, шуршала по-хозяйски вечерами, запасая, наверное, продукты. Вор на воре был, а не семейка. Я кинулся за ежиком, он бросился под куст и свернулся в клубок — я веточкой пытался раскрыть его обратно, чтобы посмотреть глаза в глаза. Ну отпусти беднягу, не мучай, сказала ты, и я внимательно поизучал тебя. Еж, воспользовавшись паузой, высунул свою мордочку, оценивая обстановку, — глаза у него были недоверчивые.

Вечером тебе, конечно, нужно было в город, потому что дел масса да и скучно на даче, безлюдно, не перед кем блистать, — я проводил тебя на автобус. А наша мама осталась — ей было нескучно на даче. Наступила тихая ночь, нам не спалось. Сильно похолодало, я принес приготовленные днем полешки в маленькую комнату на первом этаже, где была железная печурка с трубой, выходящей в окно, сложил их аккуратно в углу. Здесь не жили, и комнатка была запущена — пыль лежала всюду, валялись на полу старые журналы, связанные в пачки, ненужные книги, готы с золотыми буквами готических заглавий. Отклеившиеся обои пузырились, свисали со стен. Чтобы не разрушить нечаянно этой неприбранностью выраставшего с каждой минутой согласия нашего, мы не стали зажигать свет. Я растопил печь, огонь взялся жарко, и отблески его плясали по нашим лицам — этого света хватало. Мы просидели здесь, проговорили почти до утренней зари, и разговор наш не был похож на обыкновенные разговоры. Я не запомнил ни слова из него, хотя говорили много — о литературе, наверное, о тебе, — но больше молчали. И беспамятство мое замечательно, потому что сверх слов запомнилась, ос-

талась во мне навсегда атмосфера той ночи, которая в тысячу раз важнее самых мудрых слов, произнесенных тогда или нет, не знаю, — как не знаю, какими словами сформулировать ту атмосферу — взаимопонимания, что ли, душевного родства? — нет это слишком плоско.

Мы сидели, ворошили палочкой огонь, который уставал время от времени гореть, — и фразы, брошенные наугад, быть может, мало значили в привычном своем смысле, но недоумение, случавшееся иногда при прежних наших встречах, уходило из наших глаз, уже нерушимая впрямь ниточка, лучик теплый протягивался между сердцами, и наша мама становилась мне родной — такой же родной, как моя настоящая мама, находившаяся тогда далеко-далеко. Вот как должны жить люди, думал я и ненавидел время, сжирающее бездушно самые лучшие мгновения нашей жизни. Невозвратимые. Именно тогда наша мама окончательно поверила в меня. Это мое предположение.

После салона для новобрачных мы забежали в кафе, съели по пицце и выпили немного вина — за успех нашего предприятия, сказал я бесшабашно. Что-то все-таки тронулось в душе, ветерок новизны что-то заворочил в ней — легкость появилась, будто летел, и вера в будущее — такая иррациональная глупая вера. Хотелось от чего-то отречься, что-то принять всем сердцем, твоего немедленного ответа моему настроению хотелось — в общем, непонятно чего, и поэтому мы поехали в центр.

На Пушкинской площади встретили приятеля, приятель был толстый, веселый и большой любитель дешевого портвейна. Мы предъявили ему книжку-приглашение — свидетельство нашего нового качества, он бурно обра-

довале
мы же
разве
тащил
Мы за
шампан
ятель,
крыть
нам ну
недовер
тылку
луйста,
нимае
тойный
взгляд
кинуул
наконец
шал фо
хлоп! —
нул он,
ло и пе
Мы н
ток, а
ным Де
щейкой
ный ме
хание, —
сийской
ка, нас
соверши
вращен
мого, э
теку, по
читайте
та, и с
жет бы
леднее
благодар
сердце.
вот, вы
кричал
нужно р
что год
дит, не
семьи —
понимае
не пред
встретил
решимос

ера той
важнее
есенных
не знаю,
вать ту
, что
ет это

алочкой
от вре-
шенные
ачили в
едоуме-
режних
наших
иточка,
между
овилась
ой, как
вшаяся
должны
дел вре-
ые луч-
Невоз-
а мама
я. Это

ых мы
ище и
ех на-
бесша-
лось в
заворо-
ь, буд-
-такая
Хоте-
о при-
едлен-
хоте-
его, и

ретили
ий, ве-
цевого
книж-
на-
обра-

довался — ну наконец-то, закричал он, мы же за вас уже испереживались, разве что пари не заключаем, — и потащил нас в «Лиру», на второй этаж. Мы заказали по цыпленку и бутылку шампанского. Нет-нет, закричал приятель, когда официантка хотела открыть шампанское, не так, дайте мне, нам нужно хлопнуть... Официантка недоверчиво смотрела на него и бутылку давать не спешила. Ну пожалуйста, понизил голос приятель, понимаете, у нас есть повод, очень достойный повод... Официантка перевела взгляд на нас с тобой, мы согласно кивнули головой, и она улыбулась наконец с пониманием. Приятель шуршал фольгой, прицеливался куда-то — хлоп! — и пробки в потолок! — крикнул он, в фужерах шампанское шипело и пенилось. За вас!

Мы не успели сделать первый глоток, а приятель уже был добродушным Дедом Морозом с милой краснощекой рожей, он лез в свой подарочный мешок, а мы ждали, затаив дыхание, — что там? Книга! Это из российской истории восемнадцатого века, наставительно говорил приятель, совершивший мгновенно обратное превращение из Деда Мороза в себя самого, это в вашу семейную библиотеку, посильный, так сказать, вклад, читайте много и внимательно, ребята, и станете умными-умными, а может быть, и счастливыми... Хотя последнее проблематично... Оставалось благодарить приятеля за его доброе сердце. А он уже кричал другое — ну вот, вы меня окончательно убедили, кричал он, сейчас же еду к Ленке, и нужно решать нужно решать, потому что годы идут, и ничего не происходит, не решается... Нет полноценной семьи — нет детей, а без детей, вы понимаете, все ужасно глупо. Нет, вы не представляете, как удачно я вас встретил, вы не представляете, какая решимость теперь... — и он лез цело-

вать тебя, а следом меня. Ты потупли-вала глаза, я — приосанивался. Может быть, добавим по портвешку, сверкнул глазами приятель спустя некоторое время, когда разделались с цыплятами и шампанским, в Столешникове, должно быть, есть что-нибудь забористое... Нет, это в наши планы не входило. Постой, тебе же сейчас к Ленке нужно, напомнил я, с тобой быстрым взглядом обменявшись. Ах да, какой я идиот, в самом деле, хлопнул приятель себя по лбу, и мы побежали на улицу прощаться. Круглая голова его промелькала среди других голов и скрылась под землей — в переходе. Славный, сказали мы друг другу, дай Бог ему уда-чи.

Бульвар желтый и красный был, и шуршало, шуршало под ногами, я специально ноги не поднимал, чтобы листья эти звонкие волнами, как вода, струились — с шорохом задумчивым. И ты тоже. Мы куртки свои расстегнули, лица к теплему солнцу подняли и плыли по желтому морю, обнявшись удобно, — не замечая никого. Только однажды очнулись ненадолго — перед нами, преграждая путь, стоял пьяненький, давно не бритый дядька, во что-то серое, неотчетливое одетый, и улыбался широко. Какие вы красивые, ребята, сказал он, это потому что молодые и влюбленные, вы храните это, храните... Мы улыбулись ответно, по плавной дуге его огибая, а дядька, кажется, еще долго нам вслед смотрел. Он, наверное, по юности своей затосковал, что-то невозвратное, дорогое вспомнил. Повернули направо и бродили по переулкам, где каждый камешек под ногами давно родным стал.

Осеннее очарование не исчезало, мы были вместе, мы были в золотом сне. Сон был похож на теплое и мягкое облако, из которого не хотелось уходить, так и плыть бы в нем по Москве, не зная времени... Но некото-

рое беспокойство мешало нашему очарованному плаванью. Наша мама была, конечно, с нами, но ее не было с нами, вот в чем дело. Мы с тобой качались, укачивались в золотом сне, и просыпаться не было бы никакой нужды, так хорошо, необыкновенно в нем было, если бы... если бы... — я все чаще поглядывал на часы, а потом на твое замершее, как с закрытыми глазами, мечтательное лицо, а потом снова на часы и наконец сказал тихо, боясь разрушить очарование — ну что, поедем, пора? Да, вздохнула ты, поедем, поедем... Немножко страшно, сказал я, ты улыбнулась в ответ. Посмотрела как будто насмешливо.

Путешествие под землей было коротким, мы уже шли по узкой улочке, вертя головами, — и пришли. Рабочий день заканчивался, двери дома, возле которого мы стояли, то и дело открывались, выпуская на волю торопливых людей. Люди закуривали, переговаривались весело и, усевшись в машины и микроавтобусы, уезжали. Сердце мое в такт хлопающим дверям падало куда-то, но всякий раз были чужие люди, и оно становилось на место, а когда появилась наша мама, сердце упало и задумалось. Я перестал ему быть хозяином, стоял не дыша, — удивлялся и судорожно вспоминал, как же я дышал раньше, что же для этого нужно делать, — в конце концов сердце дрогнуло и возвратилось — забилось правильно. Я снова был ему хозяином, а мои губы уже сами улыбались — широко, необманно. И твои улыбались, и мамини — показалось, весь мир улыбнулся.

Словно щелкнул фотоаппарат, запечатлевая памятный снимок, — наша мама, красивая, стройная, молодая, в кожаном пальто и с белой косынкой, повязанной вокруг шеи, стояла на ступеньках крыльца, она шурилась от солнца и улыбалась нам. Челка черных волос падала на лоб, и ветер

чуть-чуть играл волосами — а седина стала незаметна. Наша мама помахала на прощанье рукой сослуживцам и подошла к нам — погуляем? — спросила она, не переставая улыбаться, легка и весела она была необыкновенно. Погуляем, повторили мы, и вот теперь все было в порядке, в золотом сне вакантных мест не оставалось — длился наш золотой сон, длился.

Мы шли по шумной Сретенке и говорили слова, но могли бы и не говорить — дело снова было не в словах. Дело было во взаимном расположении, сложении нашем, и оно возникло единственно нужное.

Я в то время пребывал в очередной крайности и говорить про одно только мог.

(А жизнь моя — череда яростных крайностей, проникнутая тоской по золотой середине, по истине. Мысли бегут непредсказуемо, какие-то события, рифмуясь и сочетаясь с ними, случаются, приходят какие-то книги — выстраивается какая-то логика, кажущаяся последней. Всякая логика потом рассыпается, и это тоже вполне логично, потому что последней логика не может быть здесь — здесь только томление разума и жажда веры — впрочем, все это нормально, а ненормально, неправильно, когда ты восклицаешь, устав от метаний и мечтаний — ах, как ужасно, вся жизнь — у разбитого корыта! Не у разбитого, конечно, а просто путь, просто зеркало борений нездешних... Крайности, и даже яростные, — не ложь, я их люблю, особенно — пережитые уже.)

Так вот, тогда я жил, снедаемый славянофильской грустью, — и даже не вполне славянофильской, а просто в той России, которая ушла безвозвратно. И в этом смысле принципиально-славянофильское отношение к делам Петровым меня занимало немного, а на душевном уровне и вовсе не занимало, я шел по Сретенке, и если

сейчас, в эту минуту, обнаруживал себя в семнадцатом веке, со всеми соответствующими декорациями — низкие домики в окружении садов, вид далеких сел, какой-нибудь стрелец в остроконечной шапке, с задумчивым лицом чешущий себе спину, — то в следующую минуту декорации могли совершенно измениться — и вот уже по мостовой грохотали телеги, насупленный студент проشمывал мимо, босые разносчики горланили весело, и будочник на углу, поглядывая тоже весело, но — скрывая свою веселость притворной хмурью, — это уже был век девятнадцатый. И не было между этими двумя видениями никакого спора, каков бывал в умных книгах, которых не найти было в наших библиотеках и которые я много и внимательно читал тогда. Книги эти занимали немало места в моей жизни, но это было одно, а непосредственное ощущение прошлого — совсем, совсем другое. И семнадцатый век, и девятнадцатый вдруг оказывались одинаково родными. Очевидно, это было определение отрицательное, по контрасту с той жизнью, в которой по физическим и физиологическим законам я вынужден был жить, по контрасту с вот этой неприятной Сретенкой — с ее чадом и гулом, с ее неуклюжими машинами и угрюмой толпой, в броуновском движении которой мы сейчас затерялись. В фантазиях моих (они, впрочем, были для меня намного реальнее, отчетливее, нежели современная жизнь, бессмысленно клубившаяся вокруг) все было близкое, кровное, родное, а этих людей — я с мучительным вниманием пытался заглянуть им в глаза, но не удавалось — они бежали, уткнувшись взглядами в пыльный асфальт, они толкались локтями и озабоченно перекладывали из рук в руки свои тяжелые коробки и сумки — я никак не мог (как ни хотел, как ни заставлял себя сердце от-

крыть навстречу) почувствовать родными, шел меж них, как инопланетянин, тоскуя по оставленной родине. Ощущение чужеродности этой жизни иногда доходило до форменного ужаса, до неврастения — я взирал на себя со стороны, как на арестанта, и тюрьмой было время, в котором я был заперт, тюрьмой было тело мое, одетое в современные одежды, тюрьмой были какие-то необходимые условия, поднившие меня с рождения, — я ненавидел, почти раздваиваясь, все это. В сущности, это было тоской по старорусскому быту, пронизанному, как солнечным светом, праздничным благовестом, тоской по ушедшей цельности, по почве — ее еще в девятнадцатом веке можно было осязать, возвращаться к ней, было куда возвращаться к ней, было куда возвращаться (хотя и разрушалась она стремительно, в этом славянофильская критика, отсчитывающая это разрушение от Петра, конечно, была права, но я сейчас не об этом — а о чувстве прошлого), а теперь — некуда, потому что теперь — какое-то вавилонское столпотворение, не разобрать ничего — где народ? какой он? что за идеалы его? — сплошь последние поклоны и прощания с Матерами... А дальше что?

Мы шли по Сретенке, я размахивал руками и, как медиум, пересказывал свои видения прошлых веков, призывая тебя и нашу маму путешествовать вместе со мной, но тебе было скучно, ты вертела головой и присматривалась к чужим нарядам, а наша мама внимательно улыбалась. Она никогда не спорила агрессивно, она вообще не спорила, обладая чувством такта потрясающим (это было, кажется, родовое — если я не знал никого в своем роду дальше прадеда, то вы пожелтевшие фотографии своих статских генералов бережно хранили в семейном альбоме), а лишь, когда это ей

казалось нужным, чуть-чуть поправляла точку зрения, и всякие крайности оказывались вдруг жутко смешными... Выходило это необходимо для увлеченного — для увлеченного меня, в данном случае. Всегда необходимо. Ваша тоска, сказала наша мама, от разорванности истории — больше придуманной, впрочем. Кажется, что вот тогда в жизни была цельность, а теперь — нет, тогда было хорошо, потом произошла необъяснимая катастрофа и теперь — плохо. Но никогда не было хорошо, тем более — в России... Я это знаю! — воскликнул я. — Я не пустым мечтателем в прошлое погружаюсь, не сочиняю его отсюда — нет! Я ведь вижу, что та же Сретенка завалена навозом, а на папертях церковных — калек и нищих не перечесть, и студенты Чернышевским зачитываются не от глупой моды только, и комнаты в домах такие душные и темные, что в них вешаться хочется — зимними вечерами особенно, — я ведь вижу все это, не отворачиваюсь стыдливо, но дело в духе, эту жизнь пронизывающим, и он не придуман книжными умниками; этот дух органически вырос в веках — среди этих только людей, кровными узами с нами связанных, и на этой только земле... Вертикаль... А потом эту вертикаль разрушили, и стало дышать нечем... Ничего не разрушили, сказала наша мама, этот дух не преемственностью социальных институтов сохраняется, но в большей степени органичностью культуры... А национальная культура никакому семнадцатому году не под силу. Какие-то стеснения, разумеется, есть, но и только — это все вторичное, не самое важное. Сегодня они есть, а завтра — нет... Не знаю, не знаю — я был полон пессимизма. Спинай вперед двигаться очень опасно, тем временем мягко говорила мне наша мама, можно заплутать в трех соснах, а то и в пропасть сорваться, неподвижное пре-

бывание в одном прошлом сродни тихому умиранию, в человеке должно соединяться прошлое и будущее, он, конечно, должен знать истоки свои, но смотреть все-таки вперед... Наша мама видела мир в цвете, а я был дальтоником, и очень непостоянным дальтоником, — вчера я замечал только черный цвет, сегодня — белый, а завтра — какой-нибудь зеленый... Впрочем, не безнадежно — постепенно крайности свои перебирая, я словно восстанавливал мир в естественных цветах. И до сих пор восстанавливаю.

Разные пути, разный опыт. И потом мы же не чистыми листьями рождаемся, у одних веками лучшее отбиралось, а у других... Однажды наша мама обронила задумчиво: интеллигенты в первом поколении, сказала она, хватаются за все подряд и ни одного дела не могут довести до конца, чем и мучаются страшно, детям их — легче... Она вряд ли имела в виду меня, но я запомнил.

Вдруг ты оживилась и за спиной у нашей мамы дернула меня за рукав, глазами, заблестевшими озорно, куда-то показывая. Я посмотрел и засмеялся — по улице мчалась «Чайка» в свадебных лентах, с розовым пупсом на капоте, со скрещенными кольцами, — и ты тоже смеялась, твоя рука оказалась в моей, пальцы твои дрожали, а выражение глаз менялось со страшной скоростью — я выхватывал в этом калейдоскопе самые нужные мне рисунки, и тепло становилось... Неужели и мы в такой же машине очень скоро будем мчаться, удивился я, ничего умнее не придумав, и пупс, пупс — символ такой замечательный... Мы смеялись, а наша мама растерянно смотрела на нас — что такое? Осень такая теплая, объяснил я, и вы с нами, ну и настроение... Подлизала, шепнула ты, а наша мама вдруг сказала — не кутнуть ли нам, а? Рядом была шашлычная с пестро размалеванны-

дни тидолжноее, он, свои, ноша маидальи дальи толькоа завтпрочем, крайновосстацвцах.

И пои рожее отбиаша ншателликажалаи ни до кондетям а вив

иной урукав, кудаисмеялв свасом надами,—а окаожали,страшв этомне риеужели скороничеголупс —. МыерянноОсеньи с на, шепзала—былаванны

ми окнами, наша мама кивнула в ее сторону — я плачу! — и сделала купецкий жест рукой. И вот мы уже сидели за столиком, ели шашлык, запивали его красным вином. Шашлычная была плохонькая, с какими-то будто обкуренными официантами, с тусклым светом ламп и грязным полом, но мы не замечали этого — мы ели шашлыки, запивали их красным вином (которое оказалось вполне приличным) и говорили веселую чепуху, немного кокетничая, — наша мама говорила, я говорил, а ты улыбалась, поглядывая то на нее, то на меня. Все было правильно.

Давным-давно мы с приятелем устроили встречу старых друзей, и я приехал на нее вместе с тобой, это было на заре нашего знакомства. Все были с женами, с высшими образованиями, с научными работами, с серьезными планами на жизнь, а у меня ничего не было, только ты рядом, почти незнакомая еще, но я чувствовал себя счастливее всех своих приятелей. Ты сначала нервничала, но потом успокоилась, и тебе все нравилось — мои приятели были ужасно остроумные ребята и песенки «Битлз» исполнялись изумительно, не хуже оригинала. К одиннадцати тебе нужно было домой, ты была примерная девочка, я проводил тебя до метро и вернулся в веселую квартиру — к середине ночи попойка достигла апогея, мы откровенничали, и по поводу тебя я выслушал несколько мудрых советов, высказанных сильно заплетающимися языками. Но дело не в этом. Спустя несколько месяцев, в одну из наших мучительных ссор, на мое длинное послание, написанное в традициях «исповедальной» прозы, ты ответила сочинением со своей версией нашей с тобой любви, и в нем о том вечере, устроенном моими приятелями, ты писала: «Этот день был самым счастливым для нее (ты пишешь о себе в

третьем лице, надеясь, наверное, таким образом создать большую иллюзию объективности), в их дальнейших отношениях не было больше такого дня». Я читал твои каракули и, представив твой нахмуренный лобик, детскую серьезность, с которой ты придумывала эту мило-неказистую фразу, заплакал светлыми слезами. А фразу запомнил на всю жизнь. И теперь, суется в холле шашлычной с плащами вокруг вас, когда шашлык оказался съеден, а вино — выпито, я твердил про себя эту фразу (меняя местоимение женского рода на местоимение мужского рода), я твердил: «Этот день был самым счастливым для него, в их дальнейших отношениях не было больше такого дня», — и снова хотелось плакать. Фраза была символическая, она была знаком настроения, которое приходило нечасто и которое следовало запоминать, — по поводу же дальнейших отношений мои планы сильно противоречили этой фразе, мои планы вообще не знали несчастья, отвергали это понятие как не существующее в реальности — в планах счастье катило волнами, достигая в обозримом будущем девятого вала.

Мы дошли пешком до Манежа, и путь не показался долгим — от хорошего ли вина, которое мы с тобой пили целый день, от ясной ли, прозрачной осени, яркими красками и теплом накрывшей измученный город, от редкого ли совпадения нашего, от решения ли, долгожданный рубеж обозначившего... Ну да, от всего вместе — страха больше не было, финал золотого сна, в котором мы плыли и плыли очарованно (а он кончался, этот сон, рассыпался невещественными фигурами, искрами, блестками, как бенгальский огонь, — и нужно было жить дальше, быть достойным его), был светел и оптимистичен, там не было бравурных аккордов и барабанного боя, а лишь трепетная, под стать этой

удивительной осени мелодия — флейта и скрипка...

Багровые цвета уже преобладали, солнце скрывалось за крышами домов, последним светом уходящий день обозначив, — полупустой троллейбус бежал по проспекту, мы ехали домой.

Там, дома, мы решили с тобой сказать нашей маме необходимые слова, посвятить ее в сегодня возникшую тайну, принять в совладельцы этой тайны. Чай был заварен, наша мама сидела в комнате, листая книжку, а мы шушукались на кухне. Нам стало безумно весело, все дело было только в должных быть произнесенными словах, в форме то есть, а не в факте — факт был уже непреложен, неотрицаем после сегодняшнего нашего согласного бытия троим. Форма, по обыкновению, находилась трудно, слова казались не теми, неправильными. Да ну их, ей-богу, эти репетиции, потерял терпение я, слова сами скажутся, и потащил тебя за руку в комнату. Наша мама подняла на нас глаза, ты инстинктивно (утверждая новое качество) прижалась ко мне, я (соответствуя) обнял тебя покрепче, сказал — знаете, мы решили стать мужем и женой, — и дальше слова полились сами собой, как я и предполагал, я говорил об испытанности нашей любви, о своей решимости сделать тебя счастливой, о второстепенности бытовых проблем, о своих планах и что-то еще, ты краснела по-девичьи, а улыбка нашей мамы становилась все отчетливее в своей доброжелательности — наша мама понимала нас, соглашалась с нами. Поток моих слов иссяк столь же внезапно, как и прорвался, словно тайный кто-то, мудрый кто-то отмерял необходимое их количество — и очень точно отмерил. А ты? — спросила наша мама у тебя. А я... а я, как он, — отчаянно выпалила ты. Вот и хорошо, сказала наша мама, я рада за вас... А день свадьбы... А заявле-

ние, крикнули мы вместе, мы уже подали! Ах, хитрецы, засмеялась наша мама, так вот почему вы хихикали там, на улице...

Хотелось ударить шапкой оземь и пуститься в пляс, вас обеих вовлекая в свою радость, почти языческую, какие-то костры мерещились, полнолуние, бешеный ритм праздника, — но комната, такая тихая, уютная, цивилизованная, стеллажи с книгами, картины на стенах эту радость в различные рамки заключили, — радость, в первобытные движения не претворяясь, из глаз пролилась, разлилась и комнату собой заполнила: в телевизоре уже красивые женщины пели о любви, а я с красивыми женщинами в комнате сидел, мы смеялись и снова говорили веселую чепуху — не о любви. Любовь подразумевалась, ощущалась, любовь — присутствовала.

Какие родные мы были, Господи Боже мой!

А время, как всегда, неощутимо. Пять лет прошло.

Часть жизни — наверное, самую счастливую — прожив, дальше я хотел бы не жить, а лишь вспоминать о том, что было некогда, вспоминать подробно, любовно, всем существом своим в прошлое погружаясь и только теперь понимая ясно, как замечательно оно было. И сожалея о своем непонимании тогдашнем, о пустых мучениях и отчаяниях своих. Но и сами сожаления о прошлом непонимании светлы — в сущности, проживая свою жизнь снова и снова, чаемую полностью наконец-то обретаешь.

Желания наши, по обыкновению, невыполнимы. Нужно подбрасывать уголь в печь, нужно вот крошки со стола смахнуть, нужно думать о завтрашнем дне — и память в этих будничных усилиях рвется, как паутина, она, конечно, спасительница, моя па-

мать, но спасительница очень ненадежная, непостоянная, она рвется и опадает, оставляя меня наедине с ужасным настоящим моим,— я сидел в кресле, рислинг был выпит, за окном легла тьма непроглядная и ветер посвистывал... Как больно, милая, как странно... Ах, не все ли равно, подумал я, доставая из шкафа еще одну бутылку — настала очередь крепкого вина, не все ли равно, все равно, все равно всему, все равно ничему...

Времени нет, но время есть — пять лет прошло, и теплые осени стали такими холодными — навсегда теперь? Ты замер, застыл, выпал из времени, но не все зависит от тебя, и вдруг оказывается, что время все-таки есть и оно летит стремительно, — об этом свидетельствуют изменившиеся декорации, которые, пестро и невнятно помелькав, образовали композицию совсем иного стиля и смысла, нежели была когда-то. Вот было так, а стало так, совершенно по-другому, — да-да, пять лет прошло, думал я, занимаясь вином все настойчивее.

Вопросом я мучился таким: где же то самое — какие родные мы были, Господи Боже мой! — где? Куда провалилось? И зачем? — спрашивал я, я был нахален, хмелем своим это нахальство оправдывая.

Месяц назад я встретился с тобой и мы шли по Калининскому, от холода дрожали... Мы вели себя очень мило, мы были внимательны друг к другу — я купил тебе зелененький шарфик в универмаге, оберегая твоё здоровье, а днем раньше ты подарила мне красный пуловер... Но холодно, холодно было — холодно было не только от этой мокрой, простуженной осени... Ты изменилась — ты стала более спокойна и цинична, это был уже не милый детский цинизм, который не столько цинизм, сколько игра в цинизм, нет, жизнь, показавшуюся узнанной и обманувшую надежды, приходится тер-

петь, и ты очевидно терпела ее, но как уныла эта терпеливая бухгалтерия дат и сроков, как безнадежна. Да, я тоже изменился. Мы шли по холодной Москве и не замечали ошибки, и не было нашей мамы рядом, которая бы с величайшим тактом разъяснила нам ее.

Потому что наша мама умерла.

Она лежала под серым камнем на кладбище, две даты и черточка меж ними — в жизнь длиною. На аллее — огромная лужа, засыпанная желтыми листьями, грязь и хлам, — я принес цветы, стоял, курил, я был русским мальчиком — я стоял и пытался оправдать этот мир, Бога оправдать. Это плохо получалось, благодать ушла, жестоки и беспокойны были мои обвинения. И неразумны, наверное, но — были.

Новая комбинация, которую запечатаем: ты — маленькая и потерянная (оговорки опускаем за ненадобностью) в огромном холодном городе, я — с головой погружившийся в игру со своей памятью в холодных полях, лесом поросших, наша мама — где-то в межзвездном эфире блуждающая. Такая уютная цельность наша оказалась такой ненадежной — рассыпалась на куски, отчасти неясные, лишь предполагаемые притом. И это — наша жизнь? Внимательное наблюдение за меняющимися по непостижимому плану декорациями доказывает только хрупкость и бренность жизни, и хрупкость очень насмешливую. К тому же — столь хрупкие вещи не могут быть настоящими, не правда ли?

Она ходила-ходила, а потом легла и последние три дня не вставала, говорила ты, пытаюсь говорить бесчувственно, а я, так любящий любые слова превращать в живые картинки, представить этого не мог. И мнится очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый... — бормотал я, но это уже

неинтересно, неважно, а важно вот что — увижусь ли с нашей мамой?

Я пил вино, напивался, я пристально смотрел на лик Спасителя.

Когда душа Его скорбела смертельно, когда Он в Гефсиманском саду отчаивался и тосковал, уже слыша звон мечей там, внизу, у подножия Елеонской горы, а любимейшие ученики Его валились с ног и засыпали, что говорил Он? Отец небесный, пронеси чашу сию мимо меня... Это ли говорил Он? Это самое темное, самое странное место в Евангелии; на всем пути своего сознательного служения Христос ни разу не остается в одиночестве, всегда вокруг люди, свидетели слов Его и поступков, и вот в первый и последний раз. Он один — кто свидетель, откуда слова о чаше? Что говорил Он?

С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Просто надоело сидеть одному на даче — лето стояло жаркое, дом сильно нагревался за день, и к вечеру в нем становилось душно, нехорошо, а выбирать — куда пойти? — не приходилось особенно: или в лес, или на озеро, или на станцию. В первые дни я предпочитал лес и озеро, но шло время, — одиночество, о котором столько мечтал в городе, уже утомляло, и я все чаще по вечерам отправлялся на станцию — к городской электричке. Станционная суматоха несколько развеивала мои темнеющие с каждым днем мысли. Перед приходом поезда у окошечка кассы толпились люди, нервно поглядывая на часы, и я был как будто с ними — как будто у меня тоже срочные дела, нужно торопиться куда-то вдаль, где ждет небывалое, — я вместе со всеми нервно поглядывал на часы, нервно курил, и сердце стучало чаще, душа словно

Я пристально смотрел на Его лик, я все видел как наяву — темное небо, масляные деревья силуэтами на его фоне, тревожный воздух, я видел Его, упавшего на колени, но я ничего не слышал, я оглох — Господи, о чем молился Ты тогда?

Я сидел и ревел как маленький — опромными, как дождь в летнюю грозу, слезами.

Встал, распахнул окно — холодом металлическим потянуло, и все стало как будто застывать, в мертвый хрусталь превращаться. Я выглянул наружу — шумело там, выло, бесновалось, а неба не было, какая-то черная пропасть.

Господи, крикнул я в темноту, любишь Ты нас? Любишь?

расширялась, стремилась вверх и всюду, — это было лучше обманувшего меня одиночества. На мотоциклах со снятыми глушителями газовали местные ребята, сзади ребят, прижимаясь к ним, сидели девочки в ярких платьях и визжали, когда мотоциклы подпрыгивали на корнях старых тополей, — сухие, извивающиеся корни лезли из земли, переплетались причудливо, сжимали намертво землю в своих объятиях, как змеи мифического Лаокоона.

Потом прибежала электричка, из нее вываливалась шумная городская толпа, я находил среди нее необычного человека и придумывал про него забавные истории, — этих историй хватало обыкновенно на обратную дорогу.

На этот раз на станции было безлюдно. Две облезлые собаки возились около урны, а в пыли валялась сви-

ня. И электричка пришла полупустая.

Я не успел еще расстроиться такой неудаче, как вдруг услышал свое имя.

— Сережа!

Странно, что она меня узнала. Я ее не узнал.

— Сережа, неужели это ты? — говорила стоящая передо мной женщина.

Она улыбалась, и на ее румяных щеках были ямочки — такие знакомые. А больше ничего знакомого не было. Мне показалось, что она намного старше меня, я терялся в догадках — да кто же это?

— Эх ты, не узнаешь! — почти огорчилась женщина. — А я тебя сразу узнала, ты совсем не изменился...

— Здравствуй, Вера, — сказал я, неожиданно увидев в этой женщине девочку, с которой не встречался много-много лет, — словно подул легкий ветерок, и все лишнее, наносное, слишком взрослое с этой незнакомой женщины слетело, как шелуха ненужная, а та веселая девочка из моего детства открылась — Верка, Верка Дедова, милая соседка и одноклассница моя.

— Ну вот, слава Богу, — сказала она.

Я страшно обрадовался — родное детство мое, которое стал уже забывать, вдруг с этой Веркой, с ее простыми словами, с ее веселыми ямочками, вспыхнуло ярким светом, откуда-то изнутри, из самых чистых, из самых невыдуманных глубин осветилось, и жизнь, им освещенная, стала цельна и мудра, — это чудо было.

Мы присели на лавку, я как-то неловко закурил новую сигарету — от легкого смущения, что ли.

Господи, это были времена, когда слова «двор», «подъезд», «наш дом» обозначали еще не только место жительства, но нечто неизмеримо большее — целый мир, человеческую об-

щность, образ жизни, — они обозначали атмосферу ее, которая в памяти вдруг стала недостижимо светлой. Я увидел наш пятиэтажный кирпичный дом, темные, припорошенные заводской пылью прямоугольники газонов, огромные тополя, добродушно судачащих бабок в цветастых платочках на скамейке, мужиков в майках за домино, кучку пацанов, играющих в ножички (и я, вот он я — в трико с пузырями на коленях, в разбитых сандалиях, лопоухий и пронзительно орущий что-то), стайку девочек с их куклами и колясками, алкоголиков Сидоровых с первого этажа, чету Чайкиных со второго (он — с зеленым лицом и какой-то полумертвый инвалид войны, получивший от государства инвалидный автомобиль бесплатно — то-то было событие для всех! — а она — отсидевшая по пятьдесят восьмой громкогласная толстуха с вечной беломориной во рту), безумную бабу Фросю с четвертого, — я увидел всех, всех, всех, живых и уже умерших, и чуть не заплакал от тоскливого желания вернуться хотя на секунду туда, к ним — чтобы наяву все это было, будто воскресло чудесно...

А Верка Дедова что-то говорила быстро-быстро.

Мы с ней учились в одном классе и были соседями по лестничной площадке, на которую выходили двери трех квартир, одна была нашей семьей, другая — Дедовых, а третья — Собакиных. Когда началась эпоха панельного строительства и на городских пустырях вдруг повыврастали целые районы близнецов-девятиэтажек, мы переехали из старого дома, а чуть позже я и вовсе покинул родной город. С тех пор, навещая иногда родителей, я узнавал кое-что от матери о том, как живут в нашем старом доме, мать бывала там, я знал, что многие умирали — кто по пьянке, кто от нажитых на заводе болезней, а кто — от

старости, что многие пацаны, мои товарищи по легким забавам, сели в тюрьму, а девчонки повыходили замуж,—всякая новость волновала меня, и хотелось тут же побежать по старому адресу — улица Кирова, дом семь,—увидеться с теми, кто еще остался там, постаревшими, повзрослевшими, обнять их, посидеть, повспоминать прошлое, но в суматохе все было как-то недосуг, а на улицах я никого не встречал,—вообще, с годами родной город мне казался все более чужим. И если уж совсем начистоту, то я боялся несоответствия светлого образа, любовно выстроенного в памяти, и того, что увижу, если все-таки решусь — побегу, встречу, обниму... Боялся осиротеть, замутить чистый родничок, который помогал выживать, когда особенно трудно было. Да, все же помогал.

И вот такая встреча — неожиданная, чудесная.

Быстрые Веркины слова стали доходить наконец до меня.

— Ну, было немного народу,—говорила Верка,—из старых-то почти никого не осталось, а новые... ну что новые?... теперь же все по-другому... Теперь же каждый сам по себе... Хорошо хоть, что летом умер, все дешевле хоронить, а то бы тетя Паша застрелилась... Она совсем из ума вышла, скупая такая стала — страшно, каждую копейку прячет. Спрячет, а потом забудет — где и найти не может — приходит к нам, ревет, народ, говорит, никудышный стал, дрянь народ, вор на воре...

— Кто — умер? — не понял я.

— Да ты где, Сережа? — засмеялась Верка. — Вот чудной. Я же тебе говорю — мы вчера дядю Васю Собакина похоронили...

— О Господи — и он!...

В детстве мое отношение к дяде Васе было очень сложным. Мать как-то обмолвилась, что Собакины — из вы-

сланных, а в школе нас тогда как раз просвещали насчет подвига Павлика Морозова, и пионерский отряд, организованный у нас в конце третьего класса, мы назвали имени Павлика Морозова,—понятно, что я (как ни банально сейчас рассказывать об этом) благоговейно относился к маленькому герою, заложившему своего отца... Но дело даже не этом. Дело в том, что была книжка о подвиге Павлика Морозова и в ней сильно впечатлившая меня картинка — лунная ночь и толстые кулаки в тулупах, из-под которых торчат обрезы, зарывают в землю зерно, столь необходимое голодающим беднякам. Я часами смотрел на эту картинку и ненавидел кулаков святой ненавистью, руки чесались, хотелось сжать в ладони теплую рукоятку маузера и нажимать, нажимать на спусковой крючок, сладостно расправляясь с врагами трудового народа. Но я оглядывался вокруг, и сожаление мучило меня — стрелять было не в кого. Мне нужен был живой враг, и сообщение о том, что Собакины — из высланных, с одной стороны, и замечательная картинка из книжки о Павлике Морозове, с другой, дали пищу моему воображению. В дяде Васе Собакине я придумал себе затаившегося классового врага и видел его теперь точь-в-точь похожим на тех кулаков с картинки, добавляя от себя ему злобный взгляд из-под нависающих лохматых бровей, тайники с золотом,—ну и прочую чепуху.

Бедный дядя Вася ничего не подозревал.

У Собакиных был единственный в подъезде телефон, и, когда моя сестра уехала учиться в Новосибирск, мать нередко заказывала междугородный разговор с нею на собакинский номер. Ожидание соединения было очень торжественным, оно напоминало мне по атмосфере октябрьские и перvomайские праздники, ког-

да у нас собирались отцовы братья, мои дядя, с семьями — пока хохочущие женщины бегали из кухни в зал, собирая на стол, а мы, ребята, шумно возились в маленькой комнате, — мужики молчаливо курили, улыбались друг другу и столь же торжественно ждали, когда же их наконец позовут приступить к застолью. Мы всей семьей приходили к Собакиным задолго до назначенного часа, мать играла с тетей Пашей в подкидного, умело провоцируя ее восхититься в бессчетный раз нашей Лидкой, — надо же, время от времени всплескивала руками тетя Паша, в университете учится! какая умненькая девочка! — а мать скромно потупляла глаза, отец рассказывал, как всегда, о своих башенных кранах, я же, забившись в темный угол и будто бы играя в какие-нибудь кубики, украдкой следил за молчаливым дядей Васей, ждал со страстью, когда же, когда же он неосторожным словом, движением, взглядом расколется, выдаст наконец свою сущность. Я страшно тосковал по временам Павлика Морозова. «Эх! — сокрушался про себя. — Как поздно я родился! А то бы ты от меня не ушел, кулацкая гнида! Ишь, затаился...»

Дядя Вася молчал, у него всегда под рукой было дело, ему было не до нас. Во времена моего детства зимы в Сибири стояли жестокие и кроме валенок никакой зимней обуви в городе не знали. Валенки приходилось беречь и, чтобы они служили подольше, — подшивать осенью. Дядя Вася делал это изумительно, и от заказчиков отбоя не было — он подшивал валенки не только всему нашему дому, но и чуть ли не всей улице...

Уставая иногда, он кряхтел, потягивался, подслеповато щурился на лампу и добродушно, как будто чуть-чуть виновато, улыбался нам, а я в это время все глубже прозревал его

черные замыслы и воображал, как арестовываю его, — разгромленная во время обыска квартира, рыдающая тетя Паша, ничего не понимающая Алька, груды золота и подрывной литературы на полу... Далее, понятно, в фантазиях следовала церемония торжественного вручения мне какого-нибудь важного ордена...

Странное дело — почти у всех у нас родители были из высланных в тридцатые годы семей (и мои не исключение) или, на худой конец, мобилизованные после войны на трудовой фронт (кадры решают все!), но я тогда уже почти по-взрослому умел забывать неудобные мне знания. Я выбрал себе дядю Васю как объект для взлелеянной во мне классовой ненависти, а остальное меня не интересовало.

Несколько позже я узнал, что к сгниванию зерна дядя Вася не причастен, потому что выслали его вовсе не из деревни, а из самой матушки Москвы, где он имел во времена нэпа частную лавку. Отношение мое к нему тогда изменилось.

По экранам шли увлекательные детективы, а мы с пацанами быстро выросли — мы уже научились курить, знали вкус водки, искали случая залезть под платье к девочкам, а по вечерам отправлялись по темным улицам нашего пролетарского города в поисках приключений. Наши барды тренькали на гитарах, горлаги блатные песни, и мы с чувством подпевали им, стараясь хрипеть по-высоки. Дядю Васю Собакина я теперь воображал хозяином воровской малины и уже сам не понимал, симпатичен он мне или нет в новой роли. А он по-прежнему подшивал валенки, огорчаясь тем, что заказов становится все меньше, что народ привыкает к сапогам и ботинкам, он по-прежнему подслеповато щурился на лампу и добро-

душно, как будто чуть-чуть виновато, улыбался нам.

Вскоре мы переехали в другой район.

А теперь дядя Вася Собакин умер.

Верка Дедова хватала меня за руку и тараторила, — а на кладбище, слышишь, когда дядю Васю закапывать стали, с Алькой истерика случилась, она почти в могилу прыгала, кричала — папочка, папочка, да зачем же ты нас оставил, горемыка ты наш несчастный, да всю жизнь ты промучился безвинно, всю жизнь тебе исковеркали, да как же Господь Бог позволил все это, — Верка воспроизводила Алькины интонации, — ну, я ей водки налила стакан — ой, слушай, это же целая эпопея была, как мы водку по справке доставали! — она выпила и успокоилась... А на поминках все напились, и к концу Шульц с пятого этажа — помнишь Шульцев? — запел: позарастали стежки-дорожки, где проходили-или милого но-ожки... ну и схлопотал от своей женушки по рогам... умора, они пенсионеры уже, а все еще за волосы друг друга таскают! — Верка счастливо смеялась.

Какая печальная жизнь, думал я — я теперь был взрослый, а когда-то я был мальчиком с фантазиями, — должно быть, смешными, но и несмешными, если вдуматься, — теперь я прощался со своими детскими фантазиями, прощаться всегда грустно — тем более с детством, когда жизнь цельна и бестелесна... Но дядя Вася Собакин, дядя Вася Собакин... Настали другие времена, в которых фантазиям уже не было места. Настали времена, когда приходится жить с открытыми глазами. До этого мы жили закрыв их, потому что так нас учили, мы жили и бредили в полусне, что-то придумывали, какие-то воздушные картинки — иногда это было убедительно, а иногда очень умно, — но всегда

неправильно, неправдиво, ведь правду не придумаешь, ее можно только узнать, ее нужно захотеть узнать. Но и захотеть не потребовалось — просто бухнул гром и разбудил нас, мы открыли глаза, протерли их и увидели, как — правильно, правдиво. Теперь нам осталось жить с открытыми глазами, это очень трудно с непривычки, ведь сны были так логичны, а правда оказалась такой страшной, но нужно привыкать — привыкать к открытым глазам и страшной правде и ужасному настоящему нашему, потому что от этого зависит слишком много — будущее, в конце концов.

Конечно, все было просто. Дядя Вася любил и умел работать, в Москве у него была своя лавка, потом пришли люди в гимнастерках, лавку у него отобрали и вообще все, что было, отобрали, а самого с семьей отправили в Сибирь. Вот и все. Правда уже банальная по нашим временам.

Я сидел на скамейке, курил, улыбался Верке Дедовой и пытался представить, что было бы, если бы не было... чего?.. ну хотя бы вот этих людей в гимнастерках не было... Да-да, я все понимаю про то, что мы умеем видеть прошлое и будущее, как нам удобнее видеть, я все знаю про непременно закладывающуюся неправду, и все же, все же... уж если нельзя наверняка представить, что было бы, если бы не было... — то сказать — лучше бы было или хуже? — можно наверняка.

Потому что хуже, кажется, быть не могло.

Я вспомнил угасающую жизнь Собакиных — глазами ребенка, которым я был тогда. Что-то безнадежное витало в этой жизни, пронизывало ее — оттого, наверное, и казалась чуть-чуть виноватой вечная улыбка дяди Васи.

Они получали с тетей Пашей рублей по двадцати пенсии каждый, и приходилось считать каждую копейку,

искать приработок — вот и сидел дядя Вася с утра до ночи над чужими валенками.

Когда народ совсем перестал ходить в валенках, предпочтя им ботинки и сапоги, дядя Вася — об этом я знал по рассказам матери — отправился искать работу на новый рынок, который построили недалеко от дома. Его взяли к себе узбеки, продававшие фрукты, — за какую-то мелочь дядя Вася таскал за ними тяжести, это длилось несколько лет. На рынке было несколько фруктовых команд, и они боролись друг с другом за сферы влияния, спорные вопросы выясняя часто кулаками, — в одной из таких стычек дядя Вася, хотя и был последней спицей в колесе, сильно пострадал. Его принесли домой без сознания, черного от побоев, и с неделю все думали, что он уже не жилец, — но дядя Вася выкарабкался, только после этого он стал немного заговариваться и тяжело болеть. Работы он больше не искал — силы ушли.

Тетя Паша была вертлявая, пронзительная старуха, ее нос торчал везде, где праздновали и горевали, она каким-то необъяснимым образом вызнала все тайны, прятавшиеся за стенами чужих квартир, и тогда тайны переставали быть тайнами, тогда их знали все и с удовольствием обсуждали. Тетя Паша целыми днями сидела вместе со своими товарками на скамейке, как на наблюдательном пункте, она масляно улыбалась всем, улыбки ее были очень ненастоящими, лицемерными, даже я, пацан, чувствовал это. Дядю Васю она ни в грош не ставила, потому что он (ее версия, всем известная) сломал ей жизнь. Ведь какие женихи сватались, говорила она, сладко закатывая глаза и причмокивая, Господи Боже мой, а я выбрала, дура, этого пентюха и всю жизнь маюсь — ни кола, ни двора... По-моему, она никогда нигде не ра-

ботала, а пенсию получила как-то очень хитро.

У Собакиных было две дочери: старшая, Галина, была замужем за алкоголиком и жила отдельно, а незамужняя, Алька, жила с родителями.

Галину я плохо помню, она вообще была какая-то блеклая, неотчетливая. Муж ее был похож на цыгана, с кудрявой головой, со сверкающими зубами, и если не напивался, то весело хохотал и нам, пацанам, необыкновенно нравился. Когда же напивался, то становился буйным, бегал по подъезду с топором, искал Галину и орал — зарублю, сволочь! Впрочем, приходили они к Собакиным не очень часто. Дни свои он закончил как-то бестолково, не по-человечески. Он работал на стройке сварщиком — однажды во время обеденного перерыва нашел торчащую из земли арматуру, надел на нее перевернутую кверху дном трехлитровую стеклянную банку и, усевшись на банку, стал раскручиваться. Эх, карусель! — кричал он. — Подходи, гривенник с носа! Прокачу! Работяги, окружившие его, смеялись. А потом банка не выдержала большого веса, раскололась, и Галинин муж оказался на штыре — штырь располрол ему кишки. В больнице ему там что-то долго сшивали, но не помогло — он помучился и умер.

У них была маленькая Иринка. Когда Галинин муж круто запивал, Иринка жила у Собакиных. Я садил ее к себе на спину, полз на четвереньках по комнате и учил ее — ну, Иринка, бей меня по заднице и кричи — нно, коняга! Она несмело била меня и шептала чуть слышно — нно, коняга! — я ржал в ответ совсем по-лошадиному и взбрыкивал ногами, — очень весело так играть было. Кажется, Иринка была немного туповата, — ну что ж, отец-алкоголик, ничего удивительного. У нас полгорода дебилов было.

Еще Алька. Я ее помню совсем мо-

лодой — красивой, мне казалось, улыбчивой, — своей энергией, бившей через край, она будто подпитывала эту умирающую семью. Энергия побила, побила и иссякла. Почему-то именно у Альки ничего не получилось в жизни, — за нею всегда ходили какие-то ребята, которых она лихо отшивала, а потом всех отшила, и оказалось, что замуж выходить не за кого. Годы шли, и у Альки появился нехороший блеск в глазах, когда она смотрела на мужчин, а с прежней улыбчивостью и красотой становилось все безнадежнее. Теперь уже не за ней ходили, а она хищно ходила за мужиками, и однажды ей как будто повезло, — она привела к себе какого-то невзрачного типа с бегающими глазками и с месяц жила с ним, как люди, — так это называлось. Спустя месяц прибежала чужая женщина, ворвалась в квартиру Собакиных, драла волосы Альке, а Алька — ей, но женщина драла лучше, тренированной, потому что рыдающая безутешно Алька в конце концов скрылась в недрах квартиры. Мы, молчаливые зрители поединка, очень огорчились ее поражением, а чужая женщина в это время спускалась с гордо поднятой головой по лестнице, невзрачный тип с тощим чмоданом плелся вслед за ней. Он был ее муж, у них были дети. Эх, Алька, Алька... — говорили все и жалели ее. Алька с тех пор не ловила больше мужиков, в этом же году у нее обнаружили рак груди. Алька как-то вдруг превратилась в старуху. Она почти не показывалась на людях.

Дядя Вася по-прежнему добродушно улыбался.

Господи, подумал я, но ведь никто из нас не думал тогда, что мы живем как-то несчастливо, неправильно, — все мы, все семьи жили примерно одинаково, жили одним двором, и, разумеется, у каждого время от времени возникали проблемы, но это же

нормально, жизнь есть жизнь. Родители наши, наоборот, при всяком удобном случае спешили показать, как они довольны наставшей жизнью, — а что, говорили они, войны нет и, даст Бог, не будет, жрать есть чего, да еще отдельные квартиры, повышаемые изредка зарплаты, премии за выполнение плана, одеты-обуты, говорили они, да нам такое в самых счастливых снах в детстве не снилось!.. Но наши родители — это понятно, они дети страшных лет России, они лучше-го просто не видели, а только голод и холод, а вот дядя Вася-то Собакин видел другое и молчал, молчал, лишь улыбался добродушно, что ж ему оставалось делать. И мне бы сейчас, что-то понявшему и вспомнившему его, улыбнуться добродушно, но как-то не улыбается, как-то мутно, тоскливо на душе, хоть волком завой. Господи, как же могло быть на Руси, как же могло быть и как стало! И умирают последние мученики, доулыбавшись добродушно — эх, дядя Вася Собакин, дядя Вася Собакин... История неотменима, это прописная истина, аксиома, но бывает — вдруг поглупеешь от сердечной боли и аксиомы, к которым следует привыкнуть раз и навсегда, чтобы не замечать их вовсе, где-то параллельно существуя, — охоту жить отбивают.

Я мрачнел, а Верка все говорила — о похоронах, об общих знакомых, о наших учителях.

— Что ты? — вдруг спросила она, заметив мою угрюмость.

— Да ничего, задумался просто, — я изо всех сил стряхивал с себя угрюмость, а она не стряхивалась.

Верка взглянула на часы, спохватилась — ой-ой-ой, слушай, меня же потеряли, наверное, совсем, нужно бежать... Она ойкала, щелкала замком сумочки, а я не представлял себе, как я сейчас останусь один со своими ужасными сожалениями, куда

мне деть их, чтобы не задавили насмерть,—очень уж тяжелые они были. Но Верка помогла мне.

Потому что она вот что мне сказала напоследок.

— Ой, слушай,— сказала она,— я же на свадьбу приехала, у меня здесь двоюродная сестра живет, и она завтра замуж выходит... Попросили помочь угощение гостям готовить, а я сижу тут, болтаю, глупая!.. А у сестры живот уже вот какой,— Верка показала рукой, какой большой живот у ее сестры,—затянули они маленько со свадьбой... А знаешь, Сережка, ты тоже приходи завтра, дерябнем с тобой за молодых, ну и за всех наших тоже...

Я представил себе будущего ребенка Веркиной сестры, сморщенного, орущего, нежного, и с угрюмостью моей странное твориться стало,—она будто посыпалась с меня, и на гори-

зонте где-то свет забрезжил—такой мягкий, такой доверчивый свет.

— Ну, побежала я,— сказала Верка и звонко чмокнула меня в щеку.— Очень рада была увидеться, какая хорошая неожиданность... Значит, до завтра!

И она побежала.

— А у тебя, а у тебя есть дети?— крикнул я вдогонку.

— Двое!— оглянулась Верка Дедова.— Вот такие!— И она большой палец вверх подняла.

Верка стояла, не опуская руки, и счастливо смеялась, солнце било ей в глаза, она щурилась, и оттого улыбка ее, радость ее казались вовсе безмерными,—а потом она махнула рукой и побежала. Двое детей! Вот такие!

— Пусть они будут счастливы!— крикнул я.

Вот именно.

Владимир Мазаев

НОУ ПРОБЛЕМ!

История с альтернативным концом

Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши, о Господи...

Св. Августин

1

Приятной внешности молодая стройная женщина (рвущаяся из-под заколок копна волос, персиковые тени, аккуратная в джинсах «Мальвина» попocka) разошлась с мужем, сказав ему напоследок честно и прямо, как могла только она: ты не удовлетворишь меня как мужчина!

Этим она лишний раз подтвердила свою репутацию современного, без всяких там домостроевских комплексов человека.

Звали ее Ася Кременецкая.

Трудилась Ася в ателье индпошива высшего разряда, была из состоятельной и приличной (по нынешним зыбким меркам) семьи. Мать — еще недавно главврач поликлиники, а ныне на пенсии, отец — зампред исполкома. Последний-то в свое время и порадел родной дочери. Счастливые молодые с ходу въехали в гнездо из трех комнат улучшенной планировки.

Едва за отвергнутым и униженным напослед мужем захлопнулась дверь, она набрала телефон жившей эта-

жом ниже приятельницы Евгений.

— Я так прямым текстом и выдала: не удовлетворяешь, дорогой, — заключила она свое сногшибательное сообщение.

— Мать, ты переехавшая! — ахнула в трубку Евгений. — Ну а он?

— А чего — он? Не знаешь его, чухонца? Заклеймил меня нехорошим порнографическим словом. Демократ называется, перестройщик.

— А ты?

— А я выше этого... Ложимся вечером, а он вместо того чтобы... он, чухонец, и тут митинг открывает: левые! правые! А на днях пикет протеста учинил, слыхала? Встал возле горсовета с плакатом: «Кто козел?!» Представляешь? А чего спрашивать, сам с рогами.

— Ну блеск.

— Ага, короче, давай подгребай, есть по пять капель, обсудим в узком кругу. Я одна, Галочку на этот момент дедам спровадила, они души в ней не чают.

2

Спустя месяц, а может, два (ей уже вовсю докучали эротические сны) она встретила Иванова. Оба приятно и искренне удивились. Случилось им

Из книги «Без любви прожить можно», подготовленной Кемеровским книжным издательством (темплан 1992 г.), но не изданной — из-за отсутствия средств.

быть в
круг Е
дон! А
Ася то
ной. П
не за
ния з
нов ту
Иванов
«Слыш
спишь,
вится»
новых,
не пра
ко то,
присут
придав
жесть.
ванний

И в
на про
бе, лет
свитер
губа, в
Болт
весь к
то, как
ла? И
правит
учном
у него
время
заглян
понрав
тайным
полнук

Ася
Комп
лась т
и поло
городк
ные со
Иван
оранж
ший за
реакти
на нем
Изоб
маге, п

быть в круизе, в морском плавании вокруг Европы. («Ах, Париж! Ах, Лондон! Ах, Копенгаген! Ах! ах!») Была Ася тогда с мужем, а Иванов с женой. Пары познакомились в ресторане за общим столиком. Для упрочения знакомства, надо полагать, Иванов тут же выдал анекдот, как некий Иванов говорит некоему Петрову: «Слышал я, Петров, ты с моей женой спишь, имей в виду, мне это не нравится». На что Петров ему: «Вас, Ивановых, не поймешь, ей нравится, тебе не нравится». Анекдот старый, однако то, что его рассказывал Иванов и в присутствии своей жены Ивановой, придавало анекдоту некоторую свежесть. Ася еще отметила тогда: раскованный парень, весьма.

И вот теперь случайно столкнулась на проспекте. Был он внешне так себе, лет 32, длинноволосый, в богемном свитере с обвисшим, как верблюжья губа, воротом.

Болтая с ним, она вспомнила: тот весь круиз шелкал аппаратом, а фото, как водится, зажал, ну что за дела? Иванов высказал готовность исправить свой грех. Работает он в научном учреждении, это почти рядом, у него фотолаборатория. Если есть время и Ася не возражает — можно заглянуть, выбрать негативы, какие понравятся, он тут же и тиснет. И тайным взглядом окинул ее стройную, полную жизненных сил фигурку.

Ася не возражала, время у нее есть.

Комнатка фотолаборатории оказалась тесная и душная, к тому же, как и положено, темная. За тонкой перегородкой из пластика бубнили научные сотрудники.

Иванов убрал верхний свет, включил оранжево-красный фонарь, освещавший заставленный сплошь банками с реактивами стол, проявочную кювету на нем.

Изображения, проступавшие на бумаге, можно сказать, — волшебны, в

блескучей глубине, разволновали Асю, взбудоражили эмоции: «Ой, а это кто? Ой, а это где?.. Да это ж я сама, чухонка! На Пиккадилли! С ума сойти!»

Иванов, который тоже отчего-то разволновался, и молодая экзальтированная женщина — оба склонились над волшебной кюветой, висок к виску. Дыхание их мешалось, плечи и руки сталкивались.

Все произошло как-то вдруг.

Честное слово, она даже не успела ничего такого сообразить, а уже жарко притиснутая к переборке, за которой раздавались ученые голоса, треск машинки, уже избавленная от всего лишнего, трепетала, как рыба, выброшенная на берег внезапным штормом.

Выскочила она из лаборатории встрепанная, на пустых ногах, забыв про отпечатанные снимки.

В глубине коридора нашла туалетную комнату и перед зеркалом привела себя кое-как в порядок. Почистила перышки, успокоилась: «Действительно, вас, Ивановых, не поймешь...»

«Это называется: снять момент напряжения!» — засмеялась она и спустила две минуты уже стучала каблучками по людной предвечерней улице.

3

Должно быть, она прониклась чувством к этому случайно встреченному знакомцу по круизу, оказавшемуся при ближайшем рассмотрении человеком без комплексов, как и она сама, темпераментным, неутомимым. Умел держать ее в страстных своих объятиях, пока она, обмякнув, не повисала на нем в полной отключке.

Но вот беда, лабораторная обстановка ей скоро разонравилась.

Ну в самом деле! Кроме того, что было тесно, как в туалете, и пахло реактивами, в лицо ей светил фонарь (нагло намекая на красные зазывные

фонарики в припортовом квартале Копенгагена), а пластиковая переборка, к которой ее прижимал Иванов, холодила задницу.

Ася решила: хватит этих невзгод, не вокзальная девочка. Позову к себе, познакомлю с друзьями, давно что-то не сбегались. Квартирку бы только привести в божеский вид, она давно того требует.

Была неделя вдохновенного аврала. Ей помогала Евгения. Узнав причину, она поинтересовалась: а какой он? Ася засмеялась, найдя, как ей показалось, точное определение: необузданный! Евгения в ответ простонала притворно: необузданные — моя слабость! Это была подруга не на жизнь, а на смерть. С тугими монгольскими скулками, плотненькая телом, этакая торбочка, и — безотказная.

Через полчаса Евгения знала об Иванове все, что знала Ася, от и до. В том числе и про его лабораторию, и про антисанитарные в ней условия.

Они ободрали, переклеили обои. Снесли в подвал продавленную оттоманку мужа-«демократа», под которой, между прочим, уже скопились сиротливые холмики пенопластовой трухи, два тюка независимых газет.

Спальной комнате Ася уделила особое внимание. Свадебный подарок гарнитур «Ганка», сей апофеоз супружеского благоденствия, тоже подвергся тлетворному дыханию времени: потускнел, расшатался. Они до блеска выдраили его полированную стенку, накрахмалили простыни, чего Ася уже сто лет не делала, дезодорантом попрыскали.

Уже полночь, отпустив Евгению, она присела на расшатанную кровать, зажгла ночничок. Обвела взглядом зеркально текучую плоскость напротив. Это был взгляд-воспоминание. Занимаясь с мужем любовью, любила она подглядывать одним глазком за

веселой схваткой в шоколадной глубине сплетенных тел...

Какие же баталии грянут на этом экране завтра?

4

В субботу сбежались гости. Хозяйка встречала их в длинном переливающемся саламандровом хитоне.

Пришли братья Белкины: Алик и Рома, оба бородатенькие, только у Ромы (старшего) борода вольная, под Гришку Распутина, а у Алика — похожая на бритвенный помазок. Привели с собой рослую акселератку Леночку: они всегда кого-нибудь приводили. Была, естественно, верная подруга Евгения. Ну и, конечно, истинный виновник скромной вечеринки Иванов. Заявился с «командировочным» кейсом, сунул его в прихожей под вешалку.

Лидерствовал в застолье Рома Белкин, щекастый и румяный, широкий, как дверь. Он был с гитарой умопомрачительной марки «Этерна де люкс».

Иванов сперва держал себя скованно, однако постепенно вписался, стал подавать реплики, рассказывать анекдоты, правда, не всегда впопад. Из уважения к хозяйке ему прощали.

— Он чего, поп? — спросил Иванов у Аси.

— Кто? Ромка-то? Ну даешь. «Кипиратив» он. Автомобили купает.

— Скупает?

— Да ну, моет. Чистит-блистит.

— А-а...

Рома держал гитару за горло толстой пятерней, встряхивал, чтоб стояла как гавайская, пел:

— Печа-али свет из лабиринтов памяти, печали свет размыто-голубой, а наша жизнь стоит на па-аперти и просит о любви с протянутой рукой... — И тут же, без перехода: — Что ли, по граммулке?

Алик, склонясь, щекотал акселератку Леночку бритвенным помазком. Та

усмехалась снисходительно юными морщинами у рта. Вскоре они молча, деловито удалились.

— Куда это они? — встревожился, осмелел Иванов. — Я тоже хочу!

Оставшиеся оценили его юмор, кто-то хмыкнул поощрительно.

Из ванной донесся шум водяной струи. Рома раздул заросли усов, затряс гитару.

— А мы его по морде чайничком! — пел Рома.

Ася побежала на кухню за добавками. Возвращаясь, услышала сквозь камуфляжный скрежет воды: «Ленка, все, я все, я сдохну...»

Она восторгнулась тихо: «Гигант девочка». Сев на место, прижалась бедром к Иванову, тот задержался, как гальваническая лягушка. «Ой, что будет...»

Минут через пятнадцать ей снова понадобилось на кухню по делу. Алик за кухонным грязным столом, бледный, в легкой прострации, дожевывал тарелку укрепляющих потенцию кальмаров.

Уходили гости с некоторым шумком. Куражился, выступал Рома. Он был хорош, лучше всех, граммульки свое взяли.

Дверь наконец за гостями захлопнулась. Ася с облегчением щелкнула замком и едва шаг сделала от порога — Иванов сзади облапил ее и, дыша, стал пятить к стенке. Грохнулась об пол позабытая Ромой гитара.

Ася хохотнула, выворачиваясь:

— Лапа, что за дела? Мы ж не в лаборатории, у нас постелька есть. Иди-иди, проваливай, я сейчас...

5

Наутро, часов в 12, позвонила Евгения. Голос смурной, сиплый:

— Чем занята, мать?

— В данную минуту? Формирую лицо.

— Так ты одна?

— Представь себе.

— Тогда я прибегу?

— Что, головка вава?

— Есть маленько.

Ася сидела в кресле полуголая, с маской на лице, волосы шишом.

— Как твой необузданный? — спросила, войдя, Евгения. — Обуздала?

Ася из-под салфетки, холодно:

— Ты это о ком?

— Ну блеск! Что стряслось?

— Ничего. Ровным счетом. Глянь под вешалку, если кейс там — спусти в мусоропровод.

— Мать, ты чудовище! — восхитилась Евгения.

— Шлепай на кухню, — отмахнулась та небрежно. — Пошарься там. За одним и посуду вымой, а то я погрязла.

Лишь пару дней спустя Ася не выдержала, призналась верной подруге в постигшем ее жестоком разочаровании:

— Напрасно мы хлестались с тобой, марафет наводили, дезодорантами прыскали, — сказала она скорбно-язвительно. — Мои крахмальные простыни натурально превратили его в кастрата! — И добавила, кривя полненькие губы обиженно: — Он только у своей вонючей стенки да при красном фонаре горазд...

6

Продержалась Ася во вдовьем своем одиночестве ровно неделю, от субботы до субботы. Дочка Галочка, востребованная от дедов, снова обрела маму. Вечерами вдвоем гуляли в скверике, собирали букеты листьев, играли в догоняшки. Девочка вся светилась.

Под конец недели у мамы испортилось настроение. Перед сном Галочка закапризничала что-то, и мама в серд-

цах отшлепала ее. Девочка, поревев в подушку, уснула.

Ася несколько раз нервно прошла через прихожую, каждый раз натываясь глазами на гитару у стены.

Пока медленно накручивала диск, пережила такой «момент напряжения», хоть под душ становись. На последней цифре задержала палец, поморщилась: ненормальная...

Палец опустился сам собой. Пошли гудки.

— Алё!.. Рома? Ты жив?.. И здоров?.. Инструмент тут твой по тебе уже скучает.

— Аська, салют. Да понимаешь, «Жигуль» на приколе, вот починаюсь на днях, заберу.

— Выйди мотор поймай, обнищал, кипиратив?

— Прямо вот так вот? Сейчас? На ночь глядя? — не врубался Рома.

— А чего, самое то. У меня как раз пирог с брусничкой... Ты как неродной...

Рома помедлил, пустил пробный шар:

— Привет Иванову.

— Не порть настроение, волосатик!

— Ладно, пирог — это хорошо. А к нему? Или поискать?

— Чего-нибудь нашарим, ноу проблем!

— Тогда годится, — хмыкнул Рома. — Иду имать. Хотя мало чего соображаю, — добавил он.

7

Пояс верности утерян был Асей на втором году замужества. Случилось это на пригородной турбазе, куда супруги Кременецкие приехали на выходные дни: искупаться, позагорать.

В первый же вечер молодой муж-«демократ» был втянут в политический диспут. К поздним июньским сумеркам половина диспута натурально набралась. Самые стойкие сошлись на танцверанде. Бренчал облезлой гитарой загорелый здоровяк, безрукавка до пупа расстегнута, румяный. Муж пытался подпевать, но больше падал Асе на плечо, засыпал. Ася тихо фыркала. Гитарист понимающе скалил зубы, он был ничего себе.

В свой номер Кременецкие вернулись в полночь. Ася ушла в ванную, а когда вышла, голенькая, полотенце на бедрах, муж спал сном праведника. Нога в протертом носке свисала.

Ася посидела на краю постели, кусая губы. Набросив халат, вышла в лоджию, присела на балюстраду. Теплая ночь звенела кузнечиками, бело светилась небом. За толпой деревьев была река, оттуда взрывались смехом голоса и проблескивало пламя костра.

Ася ощущала себя обманутой. Супружество, без сомнения, обернулось лажей. Заманило девочку сказкой, оглушило родами, сунуло в кухню, в пеленки (покосилась на свисающую ногу), в чужие драные носки... Нет, дочка Галочка это, конечно, чудо, счастье, но все остальное — кухня.

Выпитое вино кружило голову, расслабляло, томило желанием. «Ну что за жизнь? Возьму и уйду к костру, там хоть весело...»

От столового корпуса, по пустынной аллею, шел гитарист, держал наростопырку в каждом кулаке по пучку шампуров с мясом. Шагал быстро — торопился. Однако не заметить высвеченной белым небом романтично скучающей девушки на балюстрадке (в столь поздний час) он, конечно, не мог, не имел права. Остановился.

— Слушай, у тебя случайно луковицы нет? — спросил он.

— Луковицы? С чего бы? — Ася усмехнулась. — Муж есть. Случайно. А луковицы — извини.

Румяный гитарист аж головой закрутил, переходя сразу на пониженный регистр:

— Вас понял... А ты годишься...

Знаешь
я пригласи
ловой

Жаль —

— Об

Гитар

Нет, он

ся».

— А

вниз. —

брякнеш

— Да

— На

— Аг

засмеял

кулаки,

призыв

скоманд

Ася п

ее под

но совс

Его н

лил ей

— К

лась он

— К

— А

плавати

— П

Спус

жок. О

— Ч

— Т

смеяла

ноги.

Был

смутны

день п

напряж

Когд

блачил

она (в

и — с

медвед

на не

скольз

Это

без рас

тивши

езрукавка
ый. Муж
ше падал
ся тихо
още ска-
бе.
е верну-
ванную,
полотенце
праведни-
свисала.
тели, ку-
вышла в
острадку.
ками, бе-
той дере-
рывались
ало пла-
утой. Су-
вернулось
азкой, ог-
ню, в пе-
ощую но-
Нет, доч-
удо, сча-
хня.
ову, рас-
«Ну что
к костру,
устьинной
ал нарас-
по пучку
быстро —
ть высве-
чно ску-
адке (в
ечно, не
вился.
но луко-
— Ася ус-
наино. А
ой закру-
иженный
дишься...

Знаешь что, подгребай в наш табор, я приглашаю. Во! — он воздел над головой шампуры. — На шашлыки! Жаль — луку нет.

— Облезешь, — сказала Ася.

Гитарист радостно оскалил зубы. Нет, он тоже, кажется, ей «годился».

— А что, — сказала Ася и глянула вниз. — Только я боюсь, высоко. Как брякнешься.

— Да ладно тебе. Прыгай.

— На твои шпаги с мясом, что ли?

— Ага, вас понял, ждите ответа, — засмеялся тот и потрусил, растопырив кулаки, в деревья, к мелькающему призывно костру. Вернулся тотчас же, скомандовал заговорщицки: «Ну!»

Ася прыгнула, он ловко подхватил ее под колени. Не отпустил и понес, но совсем в другую сторону.

Его напрягшийся в ходьбе пресс калил ей бедро.

— Куда же мы? — поинтересовалась она.

— Как куда? Купаться.

— А шашлыки? Учти, я не умею плавать.

— Пустяки, я научу.

Спустились под притемненный бережок. Он остановился, пробормотал:

— Черт, как хочешь, а я не могу.

— Такой здоровый медведь, — засмеялась Ася и решительно встала на ноги.

Был глухой пятачок меж береговых смутных кущ, толчение нагретого за день песка, сумасшедший «момент напряжения».

Когда он, гладкий, большой, разоблачился сноровисто и забелел весь, она (восхитившись: «как тебя много!») и — с нервным смешком: «нет-нет, ты медведь, ты раздавишь») опустилась на него, как на пляжный лежак, скользя, деловито приспособливаясь.

Это был Белкин. Рома. Тогда еще без распутинской своей бороды. Встретившись тем же летом в городе, они

стали просто приятелями. «Кипиратив Рома» имел теневые связи, снабжал Асю косметикой, она его — билетами на заезжих музыкантов (имела тоже канал).

Асе вообще со временем стало казаться, что их турбазовский экспромт — всего лишь плод ее живого и чувственного, но не шибко богатого воображения.

8

Вместе с исчезновением наутро из прихожей раздражителя в виде высококлассного инструмента «Этериа де люкс» Ася без колебаний снова отринула мысль о его владельце как о мужчине желания.

Она уже, однако, вкусила подлое противоречие жизни: мужчины уходят, а желание остается. И когда на горизонте будней замаячил и привлек ее взор некто по имени Олег Олегович, она так же легко, не комплексуясь, сделала зигзаг навстречу.

Из всех ее избранников этот оказался самым неприметным. Был он без возраста и внешних особенностей, как агент разведки. От всяких ее гостевых компаний отказался категорически. Появлялся тихо, уже по сумеркам, и так же тихо упархивал легкой мышью. Ложась, выставлял из портфеля будильничек с музыкой. Чужому не доверял. Был Олег Олегович шерстист, как неандерталец, стеснялся своих зарослей, но когда Ася запускала в них коготки, он начинал смешно хрюкать и подпрыгивать, как на батуте. Однажды, заподозрив что-то (может, вправду был гебист?), он решительно щелкнул ночничком, погрузив спальню во мрак, лишая тем самым Асю ее тайного экрана, без которого она уже не могла.

И Олег Олегович исчез вскоре, растворился в окружающей действительности — вместе со своим музыкаль-

ным будильником и своей профессиональной подозрительностью.

Вслед за тем накатил период, по поводу которого верная подруга Евгения заметила озабоченно: «Кажется, Асенька моя пошла вразнос». Партнеры у нее стали меняться столь часто, что даже Евгения иных в глаза не видела, знала исключительно со слов самой Аси. Причем часто злых, несправедливых. Про одного: «Приспособился с ночных дежурств ко мне сбегать. А для подстраховки телефон мой напарнику оставлять. И только втянемся — звонок. Сдернет его! Только втянемся — звонок. Надоело!» Про другого: «Все пугается чего-то, рот мне зажать норовит, а от руки табачищем, прямо угораю!» Про третьего: «Едва прискачет — и сразу желает действовать, действовать! А душевно пообщаться?» Еще про одного: «Умел только по зонам шариться. Шибко грамотный. А как до дела, так и задергался: «Проклятье, я уже...» Господи, что с мужиками сделалось?..»

Евгения — простодушно:

— А замуж кто — предлагает?

— Каждый второй! — Ася помолчала, подумала: — Ну, может, четвертый. Только я ведь ви-жу!

Евгения — еще простодушной:

— Аська, да пинай ты этих охламонов! Не обойдешься без них, что ли?

— «Пинай... обойдешься...» Ты думаешь, мужчина нужен в доме только для того, чтобы было кому вбить в стену гвоздь?

За последние дни Ася с лица спала две морщинки по углам рта выступили, как у акселератки Леночки. И вот пришел день, когда Ася впала в печаль.

Апофеозом этой печали были повисшие вдоль щек недавно еще пышные волосы, а также следы старой косметики на лице. Квартира тоже отреагировала: вещи, тряпки нагло вылез-

ли из углов, портьеры обвисли, перекособенились. Телефон замолчал недоуменно-обиженно: его не подымали.

9

Было воскресенье, солнечный сентябрьский день. Евгения на выходе из подъезда столкнулась с Асей. На ней было темное простое платье, темный в примитивный горошек платок. В этом диком наряде Евгения видела ее впервые, просто глазам не поверила. Ася своим признанием прямо-таки оглушила подругу, проговорив тихо:

— Я сейчас в церкви была.

— Где?.. Да ты чо?!

— Ага, еле втиснулась, два часа службу простояла... Знаешь, что-то в этом есть. Строгость какая, торжественность. А душняк — хоть падай. Батюшка молодой, весь течет, не знала, что такие молодые бывают, губастенький. Такой лапочка! Ризы на нем, золотое шитье... Или как их? Ну да, ризы. А из-под них штанишки хлопчатобумажные выглядывают...

— Аська, на тебе креста нет!

— Ты слушай! Какую он молитву сотворил, у меня вот тут прищемило... — Она поджала смиренно губы, вздохнула: — Неправильная, Женька, наша жизнь, да... Я одно место запомнила... Ага! Боже, говорит, помоги мне перенести томление наступающего дня.

— Так и сказал?

— Так и сказал, а что? — Ася помолчала немного, наморщив лоб. — Ну, может, он сказал «утомление», я не расслышала. — Она снова вздохнула: — Гляжу вбок, стоит у приступочки одна, молоденькая, совсем девочка, свечку тоненькую тянет. Свечка дрожит, падает. Я гляжу: а мордашка такая светлая-светлая! И слезки по губам. Свечечка каплет, слезки каплют. То ли умер кто, то ли родился. А может, ей любви Бог пообещал, а, Женька?..

Целых три недели или даже четыре витал по комнатам улучшенной планировки смиренный дух монашеского скита, пока однажды Евгения не услышала над собой энергичное ширканье «лентяйки», drobный стук по полу голых пяток. Это насторожило ее. Она поднялась на этаж, позвонила в дверь.

Ася в старом обвисшем трико (фигурку ее не скрыл бы даже тарный мешок!), босая, раскрасневшаяся, увидев подругу, закричала:

— Молодец, что зашла. Поможешь портьеры перевесить!

Евгения молча, недоверчиво заглянула в комнаты: комнаты прямо-таки блестели. Покачала головой, коротко в упор осведомилась:

— Ну и кто же он?

Ася, выжав тряпку, откинула локтем прядь, засмеялась:

— Сама увидишь!

— Когда же?

— Скоро! В командировке! Хочу успеть финский уголок отдыха в гостиную внедрить. Считаешь, впишется? Зеленый, бархатный! Мне давно предлагают.

Меняя портьеры, они случайно касались руками, раздавался сухой треск. Один раз — сильный: Евгения аж дернулась, воскликнув:

— Аська, чего с тобой? Тебя заземлять пора! Из тебя искры!

Та села на подоконник, взяла в объятья скомканную тяжелую ткань, зарылась лицом, прошептала:

— Не спрашивай, не знаю. Первый раз ничего не знаю. Обалдение какое-то...

— Девушка, вы, кажется, тово... — съехидничала подруга.

— Кажется.

— Постой, постой. Ты что, в самом деле вторилась?

— Фу, как грубо.

— Ну блеск! Да кто он?

Ася подняла загоревшееся вдруг лицо:

— Юрой его зовут. Прекрасное имя, правда? Веришь — нет: к какому месту на теле ни прикоснусь — везде он!.. Да разве передашь словами.

Юрий работал в этом же ателье на автофургоне. Прежний водитель вышел на пенсию еще весной, и Юрий был принят на его место. Но Ася его просто не замечала. Может, потому, что работа на автофургоне — это сплошные разъезды, часто многодневные.

Юрий был молод, даже моложе Аси (на четыре, кажется, года), не женат, и пути их пересеклись всего однажды.

Случилось это на прошлой неделе, когда экспедитор заболел и заведующая попросила Асю подменить его, съездить за материалами, которые уже «горели». Ася едва успела позвонить дедам, чтобы взяли из садика Галочку.

Поездка в другой город заняла два дня. Гостиницы, естественно, не было. Юрий предложил свой «люкс» — то бишь, автофургон. Что делать, не ночевать же на улице.

Выехали домой на рассвете. Белая лента шоссе то взбегала на холмы, то улетала в распадки, затянутые туманом.

Стояли дни бабьего золотого лета. Оранжево просвеченные восходящим солнцем струились вдоль обочин березняки. Все кругом желтело и пламенело, лишь заплатки летних покровов ярко, по-весеннему, зеленели молодой травой-отавой. Своей ослепляющей сочностью они лишь подчеркивали всеобщее неизбежное увядание.

Ася сидела как пришибленная. Но не этими вызывающими красками, ко-

торых вчера еще, едучи сюда, не замечала, а тем страшно важным и небывалым, что происходило в душе.

А в душе ее разверзались маленькие вулканы.

Ночь в автофургоне не имела ничего общего (ну — ничегошеньки!) со всем прежним опытом. Была нежность и страсть, и было — да разве такое в проклятой жизни существует?! — понимание одним другого — необъятное. Вот что сейчас то резало сладкой бритвой, то окатывало льдом. Откуда все это?

Она украдкой взглянула на Юрия. Закатанные рукава рабочей бумажной куртки обнажали крепкие руки, лежавшие на рулевом колесе. Вел он машину прекрасно. Шрамик над бровью, который она рассматривала только сейчас, при свете утра, крохотный такой, как бы приподымал в удивлении бровь. У нее перехватило дыхание. Сейчас она боготворила даже этот шрамик.

Она ткнулась Юрию в бок и неожиданно для самой себя разрыдалась, омывая слезами еще час назад с таким трудом «сформированное» лицо. И Юрий, приобняв ее одной рукой, вынужден был затормозить, чтобы не съехать, чего доброго, в кювет.

Он был моложе ее, но вел себя мудрей, сдержанней, как и подобает мужчине.

12

Наверное, это тот самый случай, который именуется судьбой, даром небом, везеньем жизни, чем там еще? Никого из своих прежних поклонников Ася не знакомила с родителями, а Юру привела и познакомила и даже объявила: они подают заявление! Юрий дедам понравился. Ася вся цвела и пахла.

Наступил между тем и октябрь. За-

хрустел под ногами ледок, запорошило сухой крупкой...

Вписывались ли все последующие события в понятие «судьбы» или «рока» — трудно теперь сказать.

Юрий уехал в очередную свою командировку, в соседнюю область.

Асины друзья уже рыскали, сбиваясь с ног, в поисках подарка к предстоящему торжеству.

13

Весть пришла из соседней области ошеломляющая, так что в нее поначалу никто не хотел верить. Дело в том, что ночи уже стояли холодные, предзимние, Юрий спал в машине при работающем моторе и — задохнулся.

Асю привезли с работы под вечер на «Жигулях» братья Белкины — Рома и Алик, с ними была, сопровождавшая, Евгения, вся зареванная. Ася дорогой билась в истерику, так что стали опасаться за ее рассудок.

Когда ее выводили из машины и, страшно ослабевшую, под руки вели в дом, она с постаревшим враз лицом, в потеках макияжа, расхристанная, билась и кричала, что не хочет жить...

Ночь верная Евгения просидела, продежурила возле постели подружки, чтобы та, не дай бог, чего с собой не натворила. Утром приехал на служебной машине отец и забрал Асю с Галочкой к себе, под присмотр матери.

Квартира ее опустела и замерла в непривычной, в болезненной тишине.

14

Декабрь уже всюду душил город смогом, тянул вдоль магистралей промозглые длинные сквозняки, завивал в спираль автомобильные выхлопы.

Прохожие норовили бежать боком, как крабы-бокоплавы.

Молодой, жизнелюбивый Асин организм справился с жестоким потрясением. Они с дочерью снова вернулись к себе.

Отец по пути на службу заезжал за ними, подвозил Асю на работу, а внучку в садик. Совместные эти поездки растопили отцовскую отчужденность, возникшую с ее скандальным разводом.

Снова Ася входила в свою лучшую форму: копна волос, перламутровые выразительные губы, ниточка блеска посредине губы. Только глаза обрели несвойственный ей прежде полуприщур: как у человека, нечаянно взглянувшего на яркий свет.

Наступила весна, согнала с земли снежную слякоть, зазеленела первой зеленью. Позвонил под субботу отец, напомнил Асе о ее давней просьбе свозить на кладбище. Спросил осторожно:

— Ты, дочь, не против, коль с нами будут попутчики?

— Кто это?

— Сослуживец мой, Сафьянов фамилия, ты его не знаешь. Случайно разговорились, я не смог отказать.

— А чего ему?

— У него жена два года как умерла. С ним мальчик.

— Да мне-то что, — сказала Ася.

Миновав кладбищенские ворота, они трое пошли по одной аллее, а попутчики — Сафьянов с вихрастым мальчишкой лет девяти — повернули в другую, дальнюю.

Договорились встретиться на выходе. Только Ася вышла к воротам раньше, дед с Галочкой отстали где-то.

Ее слегка знобило, хотя день выдался легкий, солнечный, а на ней был блузон шерстяной вязки. Уходя от могилки Юрия, она взялась произвольно за железный столбик — и руку прямо-таки ожгло земляным холодом.

С той минуты все никак не может отогреть ладонь, нервно прячет подмышку.

Обернувшись на голоса, увидела: Галочка и вихрастый мальчик шагают дружно за руки, а позади них, о чем-то беседуя, шествуют неспешно мужчины.

Отец грузноват, старомодно степенен, а Сафьянов (спортивного покроя куртка) высок и энергичен в движениях, много моложе отца и, по всему, занимает пару ступеней ниже в ихней исполкомовской иерархии. Непонятно, как мог с ним «случайно» заговорить зампред об этой сугубо личной поездке? Майский ветер треплет редкую отцову шевелюру, а Сафьянову закидывает волосы на лоб, и оттого тот часто встряхивает головой, будто поддакивает своему собеседнику: «Да-да», «конечно-конечно», «совершенно с вами согласен»...

И ей становится вдруг дико смешно в неожиданном своем прозрении и тошно при этом от наивного отцовского поступка. До чего дожилась-докатилась, если уж респектабельный, со стойкими принципами папа пытается своему чаду непутевому жениха подцепить.

* * *

...Ее тайный в полированной глубине экран отбуйствовал, отстонал, оба они, всплыв из омута запредельного, снова были далеки друг от друга, как и вначале.

— Когда увидимся? — спросил он, тщательно одевшись, и присел к изголовью, деловито застегивая янтарную запонку.

«Никогда», — хотелось сказать ей, но она, пересилив себя, сказала: — Созвонимся, чего там. Какие наши годы.

Замкнув за ним входную дверь, крепко прижалась к ней затылком и

так стояла, в душевном оцепенении, безвольно. По странной причудливости ассоциаций в голову пришел почерпнутый еще из школьной биологии факт. Самка насекомого (забыла какого) тут же приканчивает оплодотворившего ее самца. Кажись, съедает даже. И — ноу проблем!

Прикусила губу, заморщилась. Всплыло перед ней запрокинутое, высветленное слезами и пламенем свечи лицо девочки на алтарной ступеньке. Глазам стало горячо, больно, она быстро поглядела вверх.

— Господи, свечечку, что ли, сходить поставить?..

15

Дописав эти строки, автор, честно говоря, надолго задумался, таращась в стенку. Одолело сомнение: ставить ли точку? Ведь конец этой невыдуманной истории он, признаться, выдумал.

— Для чего? — спросите вы и будете правы. Ну, пожалел автор человека, или как уж там хотите...

А посомневавшись, решил он все же не вычеркивать придуманное, в рассуждении, что могло быть и так, а почему нет?

В жизни же было вот как:

ВЕСТЬ ПРИШЛА ИЗ СОСЕДНЕЙ ОБЛАСТИ ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ, ТАК ЧТО В НЕЕ ПОНАЧАЛУ НИКТО НЕ ХОТЕЛ ВЕРИТЬ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НОЧИ УЖЕ СТОЯЛИ ХОЛОДНЫЕ, ПРЕДЗИМНИЕ, ЮРИЙ СПАЛ В МАШИНЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ И — ЗАДОХНУЛСЯ.

Оглушенная этой вестью Ася тоже не поверила. В отчаянии она позвонила Роме Белкину. Вскоре оба брата Белкины подкатили на «Жигулях», посадили ее и помчались по маршруту Юрия.

К вечеру того же дня все трое вернулись в город.

У дома их встречала, измучившись в ожидании, взволнованная Евгения.

— Ну что? Что там? — только и произнесла она, подбежав к пропыленной машине.

— Всё так, — ответил сидевший за рулем Рома: — Только он не один задохнулся, а с бабой...

Евгения ахнула и заплакала.

КОГДА АСЮ ВЫВОДИЛИ ИЗ МАШИНЫ И, СТРАШНО ОСЛАБЕВШУЮ, ПОД РУКИ ВЕЛИ В ДОМ, ОНА С ПОСТАРЕВШИМ ВРАЗ ЛИЦОМ, В ПОТЕКАХ МАКИЯЖА, РАСХРИСТАННАЯ, БИЛАСЬ И КРИЧАЛА, ЧТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ...

1989

Ирвин Шоу

И ДЕВУШКИ В ЛЕТНИХ ПЛАТЬЯХ

Вся Пятая авеню так и купалась в солнечных лучах, когда они вышли из Бревурта. И хотя был февраль, солнце жарило, и все было так, как и должно быть в воскресное утро: взад-вперед сновали автобусы, а празднично одетые люди парами медленно шествовали по тротуарам, мимо зданий с затворенными окнами.

Фрэнсис и крепко державший ее под руку Майкл шли по залитой солнцем улице по направлению к Вашингтон-сквер. Им было легко и даже радостно — ведь проснулись они поздно, вкусно позавтракали и сегодня было воскресенье. Майкл расстегнул пальто.

— Осторожней, — сказала Фрэнсис, когда они пересекали Восьмую улицу. — Не сломай себе шею.

Майкл рассмеялся, и Фрэнсис рассмеялась с ним вместе.

— Она не так уж красива, — заметила Фрэнсис. — По крайней мере, не настолько, чтобы рисковать из-за нее своей шеей.

Майкл рассмеялся снова.

— Как ты догадалась, что я на нее смотрел?

— Майкл, родной мой, — сказала она.

— Ладно, — буркнул он, — извини.

Ирвин Шоу — американский писатель (1913—1984), родился в Нью-Йорке. Учился в Бруклинском колледже. Ирвин Шоу — автор романов «Вечер в Византии», «Богач, бедняк», «Нищий, вор» и др., многих рассказов, пьес, киносценариев.

Фрэнсис погладила его по руке и чуть ускорила шаг.

— Давай не пойдем сегодня ни к кому в гости, — предложила она. — Давай просто погуляем вдвоем. Ты и я. Мне до смерти надоели все эти люди, которые то виски у нас пьют, то мы у них. Мы и видим-то друг друга только в постели. Я хочу побыть со своим мужем весь день. Хочу, чтобы он говорил только со мной и слушал только меня.

— Кто же может нам помешать?

— Стивенсоны. Они нас ждут к чаю и намереваются свозить за город.

— Коварные Стивенсоны, — заметил Майкл. — Все понятно. Они и свистеть умеют. И могут, когда захотят, взять да и поехать за город. Ты с ними условилась?

— Да, условилась.

Фрэнсис наклонилась и поцеловала его в мочку уха.

— Милая, — сказал Майкл, — вот и Пятая авеню.

— Давай я составлю программу на сегодня, — предложила Фрэнсис.

— План развлечений на воскресенье для молодой нью-йоркской пары, жаждущей швырять деньги на ветер. Валяй.

— Во-первых, давай пойдем в музей «Метрополитен», — предложила Фрэнсис.

Как-то на неделе Майкл говорил, что не прочь бы там побывать. «Я не был там года три, и есть с десяток картин, на которые я с удовольствием бы посмотрел». — Потом мы

можем сесть на автобус до Радио-Сити и посмотреть, как там катаются на коньках. А потом зайдём в ресторан Кванега и закажем там по огромному бифштексу и бутылочку вина, а уж потом можно будет сходить на этот французский фильм, о котором все говорят, что... эй, да ты меня слушаешь?

— Конечно,—ответил Майкл. Он отвел взгляд от проходившей мимо темно-волосой девушки без шляпки и с короткой, как у танцовщицы, причёской.

— Вот такая программа на сегодня,—сдержанно сказала Фрэнсис.— Или, может, ты предпочитаешь слоняться взад-вперед по Пятой авеню?

— Нет,—отвечал Майкл.

— Вечно ты пялишься на других женщин,—не выдержала Фрэнсис.— Везде, где бы мы ни оказались.

— Ну, право, милая,—возразил Майкл.— Я на все гляжу. Господь даровал мне глаза, и я смотрю на женщин и мужчин и на строящееся метро, я хожу в кино и смотрю фильмы, и я могу наслаждаться красотой полевых цветов, Я просто изучаю вселенную.

— Видел бы ты выражение своего лица, когда ты «просто изучаешь вселенную» на Пятой авеню.

— Я счастливый женатый мужчина,—Майкл нежно сжал ее локоть.— Наш брачный союз может служить образцом любой чете нашего века. Мистер и миссис Лумис. Вот что, давайте выпьем по рюмочке.

— Но мы только что позавтракали.

— Послушай, любовь моя,—сказал Майкл, тщательно подбирая слова,—сегодня чудесный день, мы оба себя чувствуем великолепно, и нет никаких оснований нарушать эту идиллию. Пусть это воскресенье нам таким и запомнится.

— Ты прав. Не знаю, с чего это я затеяла. Оставим эту тему. Будем веселиться.

Они решительно взялись за руки и молча стали пробираться между детскими колясками, минуя по-воскресному одетых старых итальянцев и молодых женщин в клетчатых шотландских платках, гуляющих по парку.

— Человек, по крайней мере, раз в год должен побывать в музее «Метрополитен»,—сказала Фрэнсис голосом, отдаленно напоминающим тот, каким она говорила за завтраком и в начале прогулки.— И там так хорошо по воскресеньям, столько народу ходит по выставочным залам, что возникает впечатление, будто кто-то в Нью-Йорке еще интересуется искусством.

— Мне надо тебе кое-что сказать,—очень серьезно вдруг произнес Майкл.— Я не касался других женщин ни разу за все пять лет.

— Ну,—сказала Фрэнсис.

— Ты ведь веришь мне, да?

— Я стараюсь этого не замечать,—говорила Фрэнсис,—но в глубине души я чувствую себя оплеванной, когда мы проходим мимо какой-нибудь женщины, а ты смотришь на нее и я вижу этот твой взгляд, тот самый, которым ты смотрел на меня, когда увидел впервые в доме Алисы Максвелл. Ты тогда стоял в гостиной возле радиоприемника, на тебе была зеленая шляпа, а рядом вся та компания.

— Шляпу помню,—пробормотал Майкл.

— И взгляд такой же,—сказала Фрэнсис.— Когда я все это вспоминаю, мне становится так плохо! Просто ужасно.

— Ч-шш, пожалуйста, милая, тихо.

— По-моему, мне надо выпить,—сказала Фрэнсис.

Молча они пошли к бару на Восьмой улице.

Майкл машинально подал ей руку, когда она сходила с тротуара, и помог перейти через улицу. Сели око-

ло окна, в которое ярко светило солнце. В камине чуть тлели угли. Подошел маленький официант-японец и, поставив на стол тарелку с солеными сухариками, радостно им улыбнулся.

— Что будешь пить? — спросил Майкл.

— Коньяк, пожалуй, — ответила Фрэнсис.

— «Курвуазье», — сказал официанту Майкл. — Два «курвуазье».

Официант принес бокалы, и они, сидя в круге солнечного света, стали пить коньяк.

Майкл осушил наполовину свой бокал, запил водой.

— Да, я смотрю на женщин, — сказал он. — Это так. Я этого и не оспариваю. Если я стану ходить по улицам и на них смотреть не буду, я просто буду обманывать и тебя, и себя.

— Ты смотришь на них с воодушевлением, — сказала Фрэнсис, вертя бокалом. — Более того, ты так смотришь на каждую.

— Ну, в каком-то смысле, — мягко заговорил Майкл, обращаясь куда-то в пространство, — в каком-то смысле это так. Получается как-то само собой, да, ты права.

— Знаю. Оттого-то мне и плохо.

— Еще коньяк, — попросил Майкл. — Официант, еще две порции.

Вздыхнув, он закрыл глаза и слегка потер веки кончиками пальцев.

— Мне нравится, как выглядят женщины. Целые полчища женщин. Это одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в Нью-Йорке. Когда я впервые приехал из Огайо в Нью-Йорк, первое, на что я обратил внимание, был целый миллион прекрасных женщин, они были всюду, куда ни глянь. Я шел, и у меня к горлу подкатился комок.

— Ребенок, — сказала Фрэнсис. — Рассуждаешь, как малое дитя.

— Но ты вдумайся, — продолжал

Майкл. — Ты только вдумайся: я постарел, уже приближаюсь к зрелому возрасту, немного растолстел даже, а все-таки люблю пройти по Пятой авеню в три часа дня, по ее восточной части, между Пятьдесят первой и Пятьдесят седьмой улицами. Женщины в мехах и невообразимых шляпках в это время все выходят по магазинам, ты видишь все их естество, собранное воедино на протяжении этих семи кварталов, лучшие меха, моднейшие наряды, а женщины самые обольстительные, но они специально пришли сюда бросать деньги на ветер и этим наслаждаться.

Официант-японец, сияя от счастья, принес два бокала.

— Все в порядке? — осведомился он.

— Все прекрасно, — отвечал Майкл.

— Ну, если дело всего лишь в двух-трех меховых пальто и сорокапяти-долларовых шляпках...

— Да шубы здесь вовсе ни при чем! И шляпки тоже. Это же все для них декорация. Кстати, — продолжал он, — ты вовсе не обязана все это выслушивать.

— Мне интересно.

— Мне нравятся девушки, сидящие в конторах, аккуратненькие, в очках, смазливые, шустрые, понимающие, кто чего стоит. Нравятся с Сорок четвертой стрит, когда я вижу их во время обеденного перерыва, и актрисы, разодетые просто так. Нравятся продавщицы в магазинах, которые бросают покупательниц и обращаются к тебе только потому, что ты мужчина. Все эти мысли и чувства стали частью моего «я», оттого что все эти десять лет я думал об этом, я все выложил начистоту.

— Продолжай, — сказала Фрэнсис.

— Когда я подумаю о Нью-Йорке, мне сразу вспоминаются все эти девушки, демонстрирующие себя на улицах города. Не знаю, то ли это только

мне присуще или все мужчины ходят с такими же мыслями в голове, но мне кажется, что как на пикнике в этом городе. Мне нравится сидеть в театре возле женщин, знаменитых красавиц, которые потратили шесть часов, чтобы поддержать честь мундира, и добились этого. Или видеть совсем еще молоденьких на футбольных матчах, с раскрасневшимися лицами, а когда наступает теплое время, смотреть на девушек в летних платьях.

Его бокал был уже пуст.

— Вот и вся история.

Фрэнсис допила свой коньяк и глотнула еще несколько раз из уже пустого бокала.

— Так ты говоришь, что меня любишь?

— Я люблю тебя.

— А ведь я тоже красивая,— сказала Фрэнсис,— такая же симпатичная, как и они.

— Ты прекрасна,— сказал Майкл.

— Я ведь достаточно хороша для тебя?— в голосе Фрэнсис зазвучала мольба.— Все это время была тебе хорошей женой, хорошей хозяйкой и другом. Я готова на все ради тебя.

— Я знаю,— сказал Майкл. Он взял ее за руку.

— Значит, ты бы хотел быть свободным, чтобы...

— Тихо.

— Скажи правду.

Она отняла руку.

Майкл слегка щелкнул пальцем по краю бокала.

— Ну ладно,— сказал он.— Да, бывают моменты, когда мне хотелось бы быть свободным.

— Что ж,— проговорила Фрэнсис,— тебе стоит только захотеть.

— Не глупи.

Майкл подвинул кресло и, сев рядом, погладил ее по ноге. Она тихо заплакала, уткнувшись в платок и чуть наклонив голову, так, чтобы другие в баре не заметили.

— В один прекрасный день,— всхлипнула она,— ты сделаешь этот шаг.

Майкл не отвечал. Он сидел и смотрел, как бармен чистит лимон.

— Ведь так?— резко спросила Фрэнсис.— Ну, скажи мне. Ведь это так?

— Возможно,— ответил Майкл.

Он передвинул кресло на прежнее место.

— Откуда, черт возьми, мне знать?

— Ты знаешь,— не отставала Фрэнсис.— Ведь так?

— Да,— ответил Майкл, помолчав.— Знаю.

Тогда Фрэнсис перестала плакать. Сморгнувшись пару раз в платок, она спрятала его в сумочку, по лицу ее никто не мог бы догадаться о случившемся.

— По крайней мере, сделай мне одно одолжение,— попросила она.

— С удовольствием.

— Не смей говорить, как красива та или другая женщина. Красивые глаза, высокая грудь, отличная фигура, приятный голос.

И сказала, подражая его интонациям:

— Оставь это при себе. Меня это не интересует.

Майкл помахал официанту.

— Хорошо, я оставлю это при себе.

Фрэнсис скосила глаза на официанта.

— Еще коньяк,— сказала она.

— Два,— поправил Майкл.

— Конечно, мэм, конечно, сэр,— захопотал официант, пятясь.

Фрэнсис холодно спросила Майкла:

— Хочешь, чтобы я позвонила Стивенсонам? Сейчас хорошо за городом.

— Конечно,— ответил Майкл.— Позвони к ним.

Она встала из-за стола и пошла через зал к телефону. Майкл думал, глядя ей вслед: какая женщина, какие ноги!

М

19.20

мыты с
точное.
ковых
ность с
ближае
скоро
просто
нейлон

Весн
разном
речить
шие де
доисто
ни он
другие
мечаю
ди гул
ну)
блудн
свойст
враща

19.20

дывае
телеф
ближ
их од
закон
аппар
ный
зерка
жей)
ское

нет ж
шива
попа

Юрий Солодов,
студент Литинститута

МИФОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

19.20. Весна. Деревья как будто вымыты с мылом. Небо — яркое, открыточное. Открытие — я живу в тростниковых зарослях женских ног. Внезапность открытия — верный признак приближающихся любовных загонов — скоро буду погибать. Не успеваю, просто не успеваю обмаковать все нейлоновые коленки.

Весна. Она на всех действует по-разному. Малыш «по-стариковски» перечитывает Булгакова. Звонят оттаявшие девочки, навещавшие меня еще в доисторические времена. Только к осени они уползут в свои норы, в свои другие измерения. С удивлением замечаю, что безнадежно одинокие люди гуляют парами, что (каждую весну) легкомысленные общаговские блудницы обретают домовитость и вес, свойственные матерям-одиночкам, превращаются в прекрасных лебедей.

19.20. Остановка. Закон — когда опаздываешь на работу, все ближайшие телефоны должны быть сломаны. Все! ближайшие! телефоны! Ты обходишь их один за одним, чтобы убедиться — закон действует. Наконец последний аппарат (под козырьком, прилепленный к кирпичной стене, омываемой зеркальной, в бензиновых пятнах, лужей) шелкает и выдает хриплое женское «Алло».

— Алло, — удивляюсь я (на ЦПУ нет женщин). Волнуясь отчего-то, спрашиваю интимно: — Скажите, куда я попал?

— Куда, куда, — голос сердится. — К бабайке на хер.

Гудки. Рассматривая свое отражение в луже, застываю в задумчивости. Звонить уже не хочется, но надо. Если снова женщина, спрошу: «Это бабайкин хер?» — и брошу трубку. Но не женщина. Но начальник.

— Это я — Ревизов. Я опаздываю.
— Так спешу.

19.42. Троллейбус. Когда совсем перенервничаю, позвоню на работу, не смогу поймать такси, усатой соломинкой, тараканом, вдруг вынырнет он — давно не ожидаемый, заблудившийся, весь «левый». И, конечно же, на последнем сидении, с развернутой газетой в руках, обнаружится напарник мой — Валера Камаев — крупный умный мужчина со светской улыбкой на татарском лице. Он дыхнет на меня перегаром (что с ним бывает нечасто). Я посмотрю ему в глаза. Я поверю дежурной улыбке. Черт его знает — как ему удастся быть одновременно и искренним, и хитрым. Внезапно нахмурившись, Камаев расскажет, что был у него друг и умер. Умер легко и быстро. Сегодня поминали. Он замолчит, чтобы подумать. Я влезу некстати: «Сегодня супругу бывшую видел. Она с молодым человеком гуляла, счастливая очень. Синенький костюмчик на ней был. Не шел ей совсем. Я у нее такого раньше не видел. На школьницу была похожа. И галстук ниточкой». Вспомню, как гулял по аллее,

задрал голову вверх, и придумывал, что голые кроны деревьев — это рога. Шикарней, чем у оленя.

19.54. Проходная. Цвет формы — неопределенно-темный (как вакса? как кирпичный сапог? как новая джинсовка?). Женщина в форменном пальто (как река Нева!) охраняет распахнутые ворота и цепь, провисшую между столбами. Показываем пропуска — и мы на территории — толстые разноцветные дымы шнуруют небо. Молча минуем старые полуразрушенные корпуса — лжесредневековые башни с сосколками стекол в узких бойницах. Я слышал, что в этих заброшенных местах живут бродяги. Однажды на полпути у меня невыносимо разболелся живот и пришлось, пересиливая страх, укрыться в одной из башен. Хлопала от ветра входная дверь. Внутри, в глубине, что-то шуршало и, казалось, гнусно хихикало. Сидя на корточках, журча жижкой, я представлял себя (романтически ужасаясь) то Разведчиком, прячущим парашют, то Сталкером, пробравшимся в Зону.

Я заметил, что комплекс Разведчика усиливается с каждым шагом, приближающим меня к цеху. Я все острее испытываю тревогу, неуверенность, тоскливую необходимость самоконтроля — чувства, столь поглощающие меня на работе. Кажусь себе все тем же долбанутым Штирлицем: полуразоблаченным, деловящемся во вражеском штабе. Меня в любую минуту могут разоблачить

1) в принципиальном нежелании жить Мужиком (перестилать полы, доставать дефицит, рассказывать анекдоты, называть Машеньку «моя дура» и т. д., и т. д., и т. д.)

2) и, что гораздо серьезнее, — в профессиональной несостоятельности. Я не люблю свою работу — толпега*.

* По преданиям, это слово в цех принес киповец Тарутин — мужик желчный, с гонор-

Ужасно боюсь сделать залипуху**. Когда начальник ставит задачу — мы обговариваем каждое мое действие, движение, шаг, как будто сейчас я не пойду и не сделаю (ее, залипуху).

20.10. ЦПУ. Кузнечиком, печатной машинкой стрекочет аппарат, распечатывающий диаграммы. Мерно, солидно, соблюдая интервал, щелкают приборы КИПиА. Они (коллеги) похожи на зомби в электрическом молочном свете. Начальник (худой, обязательно пьяный) отложит газету***. Медленно (как Вий) подымет глаза. Спросит невнятно: «Почему опоздали?» Они повернутся и посмотрят. Скромный Камаев удрученно, но с достоинством разведет руками (вопрос не к нему — он опаздывает всегда). Я же, пытаюсь сойти за своего и будучи по натуре честным, признаюсь: «Половой акт задержал». Командир, заинтересовавшись, прищурится: «Так я могу его и продолжить». Они засмеются. Они любят шутки. А я расстроюсь. Никогда мне не написать ничего интересного... тем более — о работе.

20.12. ЦПУ. Пойду переодеваться. «Во! Во! Профессор пошел!» — скажет вслед реформист Коля. Коля — хороший парень, только вечно какой-то радостный. То, что я сравнительно много читаю, странный выбор книг (толстые? стихи? пьесы?) не всем нравится на работе — «один такой неграмотный до смерти зачитался». Спустившись в бытовку, надену ржавую робу, прокисшие ботинки, лимонную каску «Строитель», фуфайку — национальный костюм работника хмпред-

ком. Он так часто выговаривал коллегам: «Толпега, ну кто же так делает?!», что его самого прозвали Толпегой.

** З а л и п у х а — технологически неправильное действие, ошибка, проступок (професс.).

*** Газета эта называется «За большую химию» — заводская многотиражка, почему-то переименованная рабочими в «сучку».

приятный.
Коля, бу
ваться:
Ревизов
Отошлю
неца?—
И посмо
23.05.

кольца т
Каа, а
плывущи
нечная
ние ливн
уж слиш
испытыв
лания. Х
ницами»
ручень,
кое тело
смеяться
сальто,
дать бор
лер,— эт

Или п
он спит
лицо час
бы затек
ся там в

01.20.
помочь л
шкову за
ржавом
леге в л
слишком
впрочем)
бы, желе

02.37.
лены, чт
жена. Ра
мовар (и
лампочка
приятно
А она

* Летом
та на вс
(отметка 1

** Чело
льву. Даж
личия умал

приятый. На ЦПУ ко мне подойдет Коля, будет стучать по плечам, радоваться: «Они — синтезеры (Камаев, Ревизов) — самые у нас похуисты!». Отошлю: «Иди говнеца поешь». — «Говнеца? — переспросит Коля. — Ну. Ну». И посмотрит уважительно.

23.05. Отметка 7 метров. Ржавые кольца танцующих труб (завод — это Каа, а мы — бандерлоги). Пароходы, плывущие по асфальту. Рев и бесконечная сверху вода — сезонные летние ливни*. Разум не справляется — уж слишком здесь все фантастично — испытываю странные болезненные желания. Хочется разбежаться и «ножницами» взять барьер (железный поручень, метр тридцать). Послать легкое тело вбок и смеяться в воздухе, смеяться. Хорошо было бы сделать сальто, нет, двойное. Ха, я буду падать боком и крутиться, как пропеллер, — это здорово!

Или подойти к начальнику**, когда он спит в своем кресле, и плеснуть в лицо чаем, не со зла, а просто. Чай бы затекал во впадины щек и крутился там воронками...

01.20. Отметка 14 метров. Послан помочь лысому глянцеватому Ване Мешкову закрыть задвижку. Повиснув на ржавом штурвале, гримасничая коллеге в лицо, имитирую помощь (не слишком заботясь о достоверности, впрочем). А вокруг трубы, трубы, трубы, железо, ночь.

02.37. ЦПУ. Неожиданно — все удивлены, что поздно — звонит Мешкову жена. Разговаривая, он сияет, как самовар (штамп), светится, как неяркая лампочка (штамп), на него просто приятно смотреть.

А она говорит: «Я стою на полу, и

* Летом для лучшего охлаждения реагента на вспрыск вентиляторов подается вода (отметка 14 метров).

** Человеку суровой мужской красоты, лбу. Даже порванные сзади штаны его величия умалить не в силах.

мне холодно. Мне приснился кошмар и, — Ваня подается вперед, — я голенькая!» Мешков жмурится и над головой его нимб — дымовое колечко (тоже не очень).

? **Местная щитовая.** Лавка. Фуфайка. Не проснувшись толком, уже придумываю себя Морским Найденышем***: темнота, духота — теснота дорисовывается. Я в трюме среди ящиков и крыс. Боюсь пошевелиться — мне страшно. Ослепительно-белый корабль входит в бухточку. Пальмы. Штиль.

08.05. Конец смены. Прижимая к груди банку с молоком, задыхаясь и подпрыгивая, спешу на служебный автобус. Камаев увидел банку и стонет, и токует: «Домой, подруге, добытчик». Мешков не согласен, возражает степенно: «Так она же не пьет молоко. (Поправляется.) Моя вот жена не пьет». Его слушать — получится — женщины вроде домашних животных (кошек или собак) имеют вкусы, общие для всех особей. Кошки пьют молоко. Жена Мешкова — нет.

08.22. Лестница. Подымаюсь, настроение что-то не очень. Навстречу бойко сучит коленками, спешит, сияющий (слишком), ушастый (чересчур) мальчик младшего школьного возраста. Он что-то поет и в такт бьет по перилам ладошкой. Пробегаю мимо — ставлю щелбан — мне становится как-то легче. Удивленный тишиной, я оборачиваюсь — мальчик, ведя пальчиком по перилам, задумчиво опускается вглубь лестничной клетки. Обвисшие его уши в пыльном полумраке светятся, как носовые платки.

08.25. Дома. На диване сопит котенок Волк. Кличка соответствует наклонностям: царапать и кусать — гопник. Я завидую легкости его жизни — спит, ест — сколько хочет, гадит, где

*** Ревизов имеет в виду «Морского Волчонка» Майн Рида.

застало желание. Услышав, что хлопнула дверь, приподымается, хмуро оглядывает меня, снова падает набок, плоско, как лист фанеры.

Машенька приезжает в 08.57, солнечная, как яблоко. Мне скучно и хочется к чему-нибудь придраться. Молчим. Машенька теряет, тускнеет. Намолчавшись: «Давай бить чашки». Что-то прикидывает — слышно, как тикают мысли у нее в голове. «Давай». Чашки бьются. Оставляя на обоях царапины, рвутся прямо над нашими головами. Как бомбы. Жить становится интересно! И весело! «Дураки», — плачет под диваном испуганный Волк. «Ты это здорово придумал. Ты молодец», — говорит Машенька.

Я думаю: «Да, конечно».

10.36. Магазины. Зря — по амбарам можно не мести, по сусекам не скрести — полки, повытертые предыдущими поколениями колобков, пусты и на вид вроде бы съедобны. Бабка глухого пенсионного возраста ласково поглаживает хлебную поверхность полки, поет: «Застой, застой, не мог ты еще постоять». Поет и плачет. Слезами по руслу морщин. Продавщица кафетерия предупреждает хищение. Кричит на пьяного, задумавшегося у прилавка: «Нет тебе стакана». Это обидно. «Да не нужен мне твой стакан. Не нужен». Помолчав: «Не нужен. Спасибо».

На улице — покупаем мороженое. Земляничная свежесть. Вкус изумительный, но по степени изумительности уступает цене. Коршуном, пулей налетает женщина — мороженое падает, падает в лужу — *замедленная съемка* — секунду мы смотрим друг на друга — она уже исчезает, вращает затянутыми в пятнистое ягодицами с неприятной механической поспешностью, гибкостью. Как шарнирами. Я, вытянув шею, вскрикиваю вслед: «Извините».

Машенька утешает, целует в щеку, я отворачиваюсь, хмурюсь, чтобы не

разбаловать Машеньку. Но разгадан. «Весь день буду гордиться, что тебя поцеловала» — над моей неприступностью.

Напоминаю: над асфальтом июльская пыль, дрожащая пленка, хочется пива.

12.00. Отбой. В такой духоте очень трудно уснуть. Шершавая льняная простыня. Матовая желтеющая бумага, «Слово о полку Игореве», готовлюсь поступать. Неожиданно нравится «...храброму Мстиславу, что зарезал Редю пред полками касожскими». Солнечный жгучий прямоугольник занимает четверть кровати. Читаю и комментирую Машеньке, слушающей внимательно, но флегматично. На тумбочке, рядом с кроватью — медная ваза с гвоздиками: белой, сиреневой, красной, купленными вчера. «...И на ковыль-траве покров смертный зеленый послала за обиду Олегову». По кровати, по нам галопирует Волк, останавливается внезапно и — надолго в цветы озабоченной мордой. «Круто! — кричу я. — Покров смертный зеленый! Зеленое покрывало — это трава, прорастающая сквозь труп. Это образ!!!» «...И поганые с победами приходили на землю Русскую, дань беря по белке со двора». Волк отходит от вазы, почему-то насупившись, почему-то задом. Хватаю его — он будет белкой — подымаю, разглядываю. За ним прискакали половцы в мохнатых шапках, с обветренными лицами басмачей. Копыта их коней процокали по прохладным бетонным ступеням. Они звонят в дверь, к их седлам приторочены мешки с котами-белками.

«Ты гонишь! Ты гонишь!»

16.04. Троллейбус. Я — пиво. Машенька — домой.

...Иногда мне кажется, что из меня бьет родник: хилый (еле пробивается), но и любопытный. Мне страшно — вот-вот заглохнет, иссякнет, но и ве-

село — ключ алый, искрящийся, ще-
кочет и бьет прямо из груди. Иногда.

17.33. Квартира Малыша. Кухня.
Двухметровый толстый Малыш. Го-
ворит. Пью пиво (какое оно?).

— Не могу читать Сашу Черного.
Не могу Зоценко. Это же не юмор —
тоска. Почему же все смеются, их
читая? Не понимаю. Такая яма.—Со-
гласен, изначально — депрессия. Но
и преодоление подобных настроений.
Пиво (? Резкое — убого. КАКОЕ?).

— Мне кажется, настроения эти
преодолеваются по-другому, их изу-
чением, разглядыванием.—Ощупыва-
нием, смакованием. Нет ничего увле-
кательнее. Может затянуть.

Пиво (??? Но несомненно — полезное).

— Думаешь, ты пишешь смешно. Да
от такого юмора жить не хочется. Уж
лучше голую жопу показывать, чем
такой юмор.— Хорошо сказано (надо
запомнить).

19.20 На работу. Лиричное.

Солнечно. Тихо и (после пива) по-
доброму. Прозрачно. Прозрачными
волнами. Прохладно. Как кукурузные
палочки, листья хрустят. В кучи сле-
телись печальные пятна — горят —
горько — на свадьбе кричат. Осенью.

Наступаю на осень. Спешу на ра-
боту. По осени.

*Р. С. Ревизов подумает про работу. У него
остановится сердце. Он рассмеется. Он упа-
дет в снег.*

*...У Машеньки маленький аккуратный жи-
вотик. Она звонит ему на работу. Она очень
строга — он сегодня не пришел. Ах, как она
его любит!*

Афанасий Гуковский

ОТРЯД МИЛОСЕРДИЯ

I

По очередному призыву в Красную Армию я был направлен в войска Северо-Кавказского военного округа. Службу нес в составе Краснодарского гарнизона.

И вот в конце марта тридцать третьего года из нашего стрелкового батальона было подобрано отделение красноармейцев для выполнения специального задания и названо «Отрядом милосердия».

Командиром отряда, в который попал и я, назначен был сержант Михаил Хмелев. Каждому солдату выдали санитарный антиинфекционный комбинезон с капюшоном — тонкая, шелковистая, слегка прорезиненная материя оранжевого цвета, маски из такой же материи, резиновые перчатки. В полночь с воскресенья на понедельник у казармы батальона остановилась грузовая машина — полуторка, приспособленная для перевозки людей, посадили в нее наш отряд и повезли.

В дороге кто-то из солдат поинтересовался: «Куда это нас тащут с такой поспешностью?» На что сержант Хмелев неопределенно ответил: «Приедем в станицу, там и получим подробный инструктаж».

Утром приехали в станицу... Теперь уже и не помню ее названия: то ли Корневская, то ли Кочетовская. Да и не в названии суть...

Все десять человек отряда ввали-

лись в станичный Совет, остановились у порога. Комната просторная, обстановка убогая. В дальнем углу, по правую руку, непокрытый стол, похожий на домашний, обеденный: чернильница-непроливашка на нем, ученическая ручка, листки бумаги. За столом, на массивном кресле грубой работы с высокой спинкой, сидит широкоплечий казак лет пятидесяти, одетый в белую косоворотку с вышитым воротником; лицо костистое, желтоватое, кончики отросших седых усов небрежно обвисли. Над его головой, на стене, портрет Сталина в дубовой раме. По левую руку за однотумбовым столом мужчина лет тридцати пяти, интеллигентного вида, лицо и голова чисто выбриты, на нем тоже белая косоворотка, и перед ним на столе тоже непроливашка, стопка папок с бумагами, а справа, в углу, несгораемый шкаф. Вдоль стен широкие лавки, покрашенные охрой, до блеска обшарпанные штанами и юбками посетителей.

Хмелев шагнул вперед, по-военному отрапортовал тому, что сидел под портретом Сталина:

— Отряд милосердия прибыл в ваше распоряжение, командир отряда Михаил Хмелев.—И отступил.

Усатый поднялся, выйдя из-за стола, тяжелой походкой подошел к гостям, представился:

— Здравствуйте, дорогие товарищи!—Протягивая широкую жесткую руку, здоровался с каждым.—Я пред-

седатель станичного Совета Денис Трофимович Портнов.—Кивнул на бритоголового:— А это секретарь Совета Тарас Миронович Коваль.— Пригласил:— Садитесь, поговорим о наших трудных делах.

Когда все уселись на лавки, Денис Трофимович прошел на свое место, довольно хладнокровно— привык уже, видно, ко всему— начал «инструктаж»:

— Работа вам, дорогие товарищеские, предстоит не очень приятная, скверная работа. В станице нету двора, где бы кто-то не помер, а копать могилы, хоронить, считай, некому. Колхозники наши отошались до крайности, с трудом могут копать землю. Да и в поле кому-то надо работать, посевная идет.

Красноармейцы были готовы на любую работу, но чтобы возиться с мертвецами... Беспокойно задвигались, запереглядывались. Кто чуток изменился в лице, кто-то нервно передернул плечами, видать, по коже холодные мурашки побежали, кто-то неправдоподобно кашлянул раз-другой...

Председатель переложил на столе бумажки с места на место и уже с тягостной озабоченностью продолжал:

— Самое тревожное, браточки, что трупы лежат в хатах по несколько дней, разлагаются и, не дай бог, навяжется какая-нибудь чума или холера... тогда всем конец. От наше районное начальство и обратилось к вам за помощью.— Признательно кивнул.—

Мы весьма благодарны вашему командованию и вам, хлопчики, что приехали. За какое время управитесь в нашей станице— за неделю, а может, больше— не знаю. Жилье мы вам найдем: пустых хат теперь почти половина станицы. А вот с харчем в колхозе очень плохо, не обессудьте.

Сержант Хмелев, озадаченный таким заявлением, поднялся и доложил без прежней бодрости:

— Продуктами снабдили нас на неделю. А работать будем сколько потребуется. По субботам уезжать будем в свою часть на отдых и за пайком. Так что об этом не беспокойтесь.

Председатель кивнул, оглядел растерянные лица бойцов.

— От и добре, товарищи, благодарствую!— повернулся к секретарю:— Тарас Миронович, покажи ребятам пустующие хаты, пушай подберут что понравится. Затем с командиром поезжай на склад, возьми лопаты, топоры, ломы. Ну и съездите на погост, найдите место для братской могилы.

Поднялся со своего кресла, по-отечески доброжелательно и как-то виновато напутствовал:

— Устраивайтесь, ребятки, отдохните с дороги и приступайте, дел много и все неотложные.— Попросил сержанта:— Записывайте, сколь свезете мужчин, женщин и ребятишек, приносите мне сводку. Эт для первого общего учета. А ежели там што... приходите в Совет, мы с Тарасом Мироновичем завсегда тут. Ну, как говорится, с богом!

Бойцы, подавленные, молчали. Отряд поселили в большую трехкомнатную хату. В ней полностью сохранилось все, даже ситцевые занавески на окнах.

Мы все топтались на кухне, не решаясь пройти в другие комнаты, переглядывались: а если вернутся хозяева, тогда, мол, как?

Тарас Миронович заметил нашу нерешительность, рассказал, что в этой хате жила большая, дружная семья: отец, мать, сын с женой и двое малых ребятишек. Когда было уже съедено все, что можно съесть, и не осталось никакого спасения от голодной смерти, чтобы самим не мучиться и не видеть страдания детишек— хозяева решились: вечером истопили печку и наглухо закрыли заслонку трубы. Все умерли от угара.

Рукавом косоворотки утер обильно вспотевший лоб, добавил:

— Это был у нас первый случай самоубийства целой семьи.

После продолжительной, напряженной паузы сержант Хмелев спросил:

— И давно это было?

— Недели две тому назад. Покойников на второй день похоронили, хата успела проветриться, опасаться нечего. Да и просторная, каких в станице не шибко много. В огороде на меже с соседским огородом колодец: вода в нем чистая, можно пить и готовить еду.

— А кто в соседней хате живет? — не унимался дотошный сержант. — Молодые или старики, общительные или какие-нибудь куркули?

— Живут там, можно сказать, молодые и очень хорошие люди. Ивану Ершову тридцать пять, работает в МТС трактористом, а на эту посевную прислали его в наш колхоз. Жене его, Гале, тридцать два, занимается домашними делами. Трое маленьких детишек. Садика в колхозе нету, куда их, малышей, девать? Живут... как и все в станице.

Красноармейцы тем временем перенесли из машины в хату вещи, продукты, открыли несколько банок рыбных консервов, на столе в горнице нарезали хлеба. Наспех, всухомятку перекусив, поехали на колхозный склад, получили нужный инструмент и укатали на кладбище. На окраине его Тарас Миронович показал место, где копать братскую могилу.

— А какого размера? — спросил Хмелев, не представляя еще масштабов бедствия.

— Ну, на первый случай выкопайте метров десять в длину, шириной два метра, а глубиной не меньше двух. — И ушел в станицу.

Работали мы дружно, споро, и к обеду могила была готова. К тому времени дневальный по «казарме»

Яков Тищенко — невысокий, энергичный крепыш с улыбочивыми глазами, успел приготовить отменный обед: украинский борщ с рыбными консервами, пшеничную кашу, обильно заправленную растительным маслом, крепкий чай.

После сытного обеда и перекура сержант Хмелев встал с лавки, распорядился:

— А теперь, братцы, за основную работу! Прохлаждаться некогда. Старшим группы, которая заходит в дома по правой стороне улицы, назначаю себя. Мансурова Ахмеда — той, что идет по левой стороне. Ясно?

Мансуров вскочил, замахал руками:

— А где правый сторона улицы, а где левый, как найдешь?

Все невесело засмеялись. Хмелев поднял руку, призывая к порядку, серьезно объяснил:

— Машина будет ехать по улице, вот по ее ходу и определишь, где право, а где лево. Понятно?

Оделись в непривычную нам робу, поехали. Начали с крайней от околицы улицы, заходили в хаты, будто какие-то инопланетяне, пугая живых людей.

В некоторых умерли целые семьи, взрослые и ребятишки лежали там, где их настигла смерть: на кровати, на лавке, на земляном полу. Многие трупы лежали давно, разложились уже, в хатах стояло зловоние. В таких случаях машина заезжала во двор и собирался вместе весь отряд. Трупы, которые лежали на кровати, заворачивали в одеяло или брали вместе с матрацами и относили в машину; около остальных стелили какую-нибудь дерюжку, лопатами сгребали на нее, грузили в машину. Тут же увозили на кладбище.

Некоторые из нас со страхом и отвращением смотрели на покойников, не могли выносить сладковатого запаха, мучила тошнота, кое-кто частень-

ко бегал за угол хаты... Четверо совсем раскисли, не смогли работать до конца дня, сержант отпустил их в «казарму». За ужином большинство из отряда не прикоснулось к еде. Попили горячего крепкого чая и улеглись спать. Остальные поставили на стол большой глиняный горшок вверх дном, водрузили на него керосиновую лампу-семилинейку, вяло, без прежних шуток и подначек, попробовали играть в карты, но игра не складывалась.

На следующий день выехали на задание все. Быстро же человек привыкает ко всему. На этот раз только двое не смогли выдюжить до конца дня.

И той первой вырытой нами могилы хватило только на полтора дня. Потом уже копали целые траншеи.

II

Выпала очередь дежурить мне. Утром поднялся чуть свет: надо готовить завтрак. Взяв два ведра, пошел к колодцу.

В подворье во всем царил завидный порядок: хата под камышовой крышей, что редко встречается в станице, стены снаружи аккуратно побелены известью, стекла протерты до блеска. Перед хатой — просторный палисадник, два больших куста сирени, сирень уже набирала цвет; дорожка посыпана белым речным песком. Под окнами аккуратная скамейка. Даже во дворе тропинки подметены. Амбар и стайка, которые давно уже пустуют, — тоже по-хозяйски ухожены. Сразу видно: люди здесь работающие, хозяйственные, понимают, что в уютном жилище легче переносить даже самые тяжкие житейские невзгоды. Издали увидел, что соседка у колодца обеими руками из последних силенок поворачивает рычаг воротка. Когда ведро показалось над срубом, она схва-

тила за дужку, но не смогла удержать, и ведро полетело обратно в колодец. Испуганно отшатнулась, не устояла на ногах, обессиленно упала навзничь.

Бросив на землю свои ведра, я побежал, подхватил ее — худая, легонькая, что пушинка, — отвел в сторону, на скамеечку посадил. Скамеечка такая же аккуратная, как и та, что в палисаднике. В свободное время на ней обычно стояли ведра, а во время работы — отдыхали соседи: Галя и Иван Ершовы.

Галя подняла на меня глубоко заправшие, полные слез глаза, дрожащим голосом еле слышно сказала:

— Никаких моих сил нету. — И заплакала. — От жисть настала!.. — Лицо сухое, до желтизны бледное, нос заострился. — Отдохну маленько и полью грядки. Ваня придет с работы поздно, так решила начать пораньше.

Подбежали ребятишки — до этого копошились они в саду, что-то собирали там — окружив мать, льнули к ней, лепетали; страшно худые, на тонких узловатых ножках, смахивали на кузнечиков.

Присев на корточки, я погладил старшую девочку по белокурым отросшим волосам, спросил:

— Тебя как звать, курносая?

Девочка посмотрела на мать, как бы спрашивая разрешения, смущенно ответила:

— Оля. — И, осмелев, спросила в свою очередь: — А вас, дяденька солдат, как?

— Меня Степаном, дядей Степой звать. — И еще поинтересовался: — Сколько же тебе лет?

— Уже шесть годиков, — сообщила Оля. — На другой год я пойду в школу. — Пальчиком ткнула в грудь сестренки: — А ее зовут Надей, ей только четыре, она еще до-олго не пойдет в школу.

Самый младший как подошел, так

и сел на землю, подогнув босые ножки; тонкая шейка плохо, видать, удерживала казавшуюся большой голову, и он прислонил ее к ногам матери. Болезненно розоватая, тонкая кожа на его припухшем лице была прозрачной, вроде бы просвечивала.

По-взрослому опечаленными глазами Оля посмотрела на братишку, с детской непосредственностью сообщила:

— Павлуше нашему только два года; он совсем худой и скоро помрет...

— Не болтай чего зря, глупая! — осерчала Галя. — Вот уже скоро придет с работы папаня, хлебушка принесет.

Оля закапризничала:

— Ага, он мало приносит. — И пожаловалась мне: — Мамка наша варит борщ из травы, а от него только животик болит. Вот.

Слушая разговор о еде, захныкала Надя:

— Ма-а, я хочу есть, хлебушка хочу. Ма-а!..

Смотрел я на малышей, и сердце останавливалось.

Я спросил у Гали:

— На ребятишек вам дают в колхозе какие-нибудь продукты?

Женщина покачала головой.

— Ни малым, ни старым и даже больным — ничего. Токо для тех, кто работает в поле, на обед варят затируху из отрубей или какой-нибудь крупы. — Погладила сынишку по головке. — А мне как ходить на работу, на ково оставлю деток? Да и огород во-он какой! Ежели не вырастим на ём чего следует, на другую зиму всё едино. — Она помолчала. — На энти трудни-палочки накакой надежды.

Она рассказала, хотя я это знал уже от Тараса Мироновича, что муж ее, Иван Ершов, работает в МТС трактористом и на время посевной прислали его в свой родной колхоз. Свою порцию хлеба приносит домой. Кро-

ме того, в обеденный перерыв или чуть выпадет там свободная минута, Иван вылавливает из норок сусликов и кротов и добычу приносит домой.

Губы ее чуть дрогнули, изобразив подобие улыбки:

— Тогда варю я борщ с мясом, зеленый борщ: побольше крапивы или лебеды и половину тушки суслика. Но охотников много нынче, вся живность уходит подальше от людей...

— Вот муж работает трактористом, — сказал я. — Но мы уже третий день тут, а я не видел, чтобы он приезжал домой на машине.

— Не разрешается, — вздохнула Галя. — Днем иной раз попутно завернет, дровишек привезет из леса или там еще чего. И то с оглядкой. А вообще — избави Бог! Вечером с поля все — пешие, на лошадях и на машине — все обязаны являться на колхозный двор. Участковый Оська Штыба и бригадиры обыскивают всех до ниточки. — Сокрушенно покачала головой. — Энтот Оська Штыба такой зверюга. Везде успевает, за каждым зырит, что змей, никому не верит.

— Ты гляди, какие строгие у вас порядки, — немало удивился я. — Хуже, чем у нас, у армейских.

— Такой закон, — вздохнув, напомнила Галя.

— Закон? Какой еще закон?..

Смотрела на меня Галя и не могла понять: на самом деле я ничего не знаю или нарочно прикидываюсь. Хотя на лице моем вроде ни тени подвоха. И она рассказала:

— Ну, энтот, закон от седьмого августа прошлого, стало быть, тридцать второго года. У нас его называют еще — закон о пяти колосках. Колхозники и старые, и малые — все знают, а вы?..

— Впервые слышу, — сказал я.

— Страшный закон! — вздохнула Галя. — За пять колосков, что подобрал на поле, или за кило зерна, что ук-

рал, — голоду ба, при

— Дем отпихах и на Ха Оська тает...

На кашу ба лом и этим Ведро постав дывая прочим ине, ка слову положе

— Рго не младш вае п уже пр как-то ...В

гостная ный те ку, ка задума

Толь красно впервы с небо истинн перь н диры, так бд солдат ром — нитель мах. К тревог родных Яков стол, в

рал,— расстрел. Сам не околеешь с голодухи, дак такие, как Оська Штыба, прикончат...

— Да-а,— протянул я, думая о своем отце, матери, младших — братишках и сестренке, что живут в колхозе на Харьковщине.— Таких, как ваш Оська Штыба, везде, наверное, хватает...

III

На ужин приготовил я гречневую кашу и, как всегда, чай: нарезал хлеба ломтиками поменьше, чем обычно, и этим сэкономил половину батона. Ведро с кашей и тарелку с хлебом поставил на середину стола; накладывая в миски кашу, как бы между прочим заметил, что у нас, на Украине, кашу едят без хлеба. Как бы к слову сказал о невероятно тяжелом положении с питанием у соседей.

— Ребятишки на ладан дышат, долго не протянут. А особенно самый младший хлопчик; он, должно, доживает последние дни.— Переводя дух, уже просительно добавил:— Надо бы как-то подсобить соседям.

...В горнице установилась вдруг тягостная тишина, парни сбавили обычный темп еды. Уставясь в свою миску, каждый, видать, сосредоточенно задумался о чем-то своем...

Только три дня пока проработали красноармейцы в станице, а будто впервые за свои прожитые двадцать с небольшим лет увидели жизнь в ее истинной неприкрытой наготе. И теперь начали понимать, почему командиры, политработники так заботливо, так бдительно оберегают их, рядовых солдат, от общения с внешним миром — ни отпусков домой, ни увольнительных в город — держат в казармах. И теперь каждый с затаенной тревогой думать стал о доме, о своих родных и близких: как они там?..

Яков Тищенко положил ложку на стол, вскочил с места, но тут же сел,

волнуясь, заговорил нескладной скороговоркой:

— На Полтавщине живут мои родители, а у них, кроме меня, еще две сестренки. Душа у меня болит: как они тама?— Похлопал рукой по карманам гимнастерки, но ничего не нашел, продолжал:— Недавно получил я письмо от батьки, но в ём половина строчек замарана черным, я так и не мог понять, что они, мамка с батей, делают, как живут.— И как бы невзначай положил свой ломтик хлеба обратно на тарелку.

— А у меня в Гомельской области родители живут, старые уже,— потупив большие черные глаза, сказал Андрей Луферчук.— Ежели они не могут работать в колхозе, то як таперя?..— И тоже положил на тарелку свой хлеб.

Сержант Хмелев постучал алюминиевой ложкой по краю миски, призывая товарищей к порядку:

— Считаю, что поддержать ребятишек, хоть временно подкормить их— это мы вполне сможем, это в наших силах. Не возражаете?

— Правильно, товарищ командир!— дружно отзвались мы.

И в самом деле, дневной паек красноармейца в командировке составлял килограмм хлеба, банка рыбных консервов на двоих, двадцать граммов сахара, а еще крупы разные, растительное масло.

В общем решили: для ребятишек выделять каждый день по сто граммов хлеба с носа. А это уже целый килограмм. Баночку консервов, стакан-полтора крупы, немножко растительного масла, три-четыре кусочка сахара.

Сержант сказал:

— Думаю, что от такого сокращения нашего рациона мы не отощаем шибко. А для ребятишек это — знаете!..— Он посмотрел на меня:— И поручим это дело рядовому Степану Зо-

зуле. Он уже познакомился с соседями, будет относить им нашу скромную передачу.

На улице было еще светло. Ребята уже привычно поставили на середину стола горшок вверх дном, водрузили на него лампу, но пока не зажигали, рано. Усевшись на лавки, стали играть: четверо в карты, в подкидного, а вторая четверка вместе с сержантом — в домино.

...Я возился на кухне. Освободив свой вещмешок, положил в него хлеб, консервов баночку, газетный кулек с пшеном и четушку с маслом на донышке, четыре кусочка пиленого сахара. Вот и готова передача. Затянув лямки, кинул мешок на плечо, вышел на улицу.

Соседи сидели на скамеечке в палисаднике, о чем-то тихо беседовали, и я вдруг растерялся. С Иваном Ершовым еще не был знаком, что он за человек, как с ним вести себя и — главное — как предложить им эту передачку... Вернулся в хату, позвал сержанта на кухню, признался в своей, что называется, беспомощности, попросил:

— Пойдемте к соседям вдвоем, поговорим о всяком разном и уже потом... А то мне одному несподручно как-то. Может, Иван, тово, ревнивый... Еще подумает что...

Михаил Хмелев согласился, ему тоже хотелось поближе узнать соседей. И мы пошли.

На правах старого знакомого я первым прошел в палисадник, поздоровался.

— Добрый вечер. Погода-то какая установилась! Тепло, как летом. — Повел носом, принюхиваясь: — И сиренью уже пахнет здорово.

Галя поднялась, освобождая место для нас, кивнула на кусты:

— Так она, сирень, дружно зацветает. Степушка, садитесь. — Обернулась к сержанту: — Извиняйте, това-

рищ командир, а вас как зовут-величают?

— Михаил Хмелев! — представился сержант. — Можно просто по имени.

Иван сидел расслабленно, усталыми, неопределенного цвета глазами смотрел на гостей без особого интереса. На вид ему было лет сорок: изможденное, давно небритое скуластое лицо в пятнах въевшегося машинного масла; большие ладони рук с растопыренными узловатыми пальцами лежат на коленях; серый хлопчатобумажный изрядно поношенный пиджак мешковато сидит на его худом теле, босые ноги круто подогнуты, спрятаны под скамеечку.

Галя положила руку на плечо Ивана.

— А это мой муж, Иван Ершов, тракторист в колхозе.

Ершов поднялся, не проронив ни слова, пожал нам руки и снова сел. Хмелев сел рядом с ним, а я пристроился на краешке, сняв с плеча вещмешок, положил себе на колени; Галя села по другую сторону. Некоторое время сидели молча.

Ершов приложил ко рту кулак, кашлянул:

— Хорошие ребята в вашем отделении, гляжу — что родные братья. Командиру завсегда легко с такими солдатами.

— Это не просто армейское отделение красноармейцев, — заметил сержант. — Тут не у каждого выдержат нервышки...

— В армии и дисциплина армейская, — похвастался я. — У нас порядочек, будьте уверены!..

— Не везде и не всегда бывает так, — возразил Ершов. — Я служил в Красной гвардии, пехота была одета во что попало, даже в лаптях ходили. Но дисциплина, скажу я вам, была железная. А теперь? Наши ребята, которые демобилизовались в прошлом году, рассказывали такое...

Чтобы разговор подвести ближе к делу, я сказал:

— Посевная у вас, должно, подходит к концу?

— Кукурузу заканчиваем, — уточнил Иван. — Потом картошка на очереди, а там бахчи. Работы уйма, токо работать некому. Вы небось уже колхоза свезли на погост?

Хмелев не ответил на этот каверзный вопрос. Возникла неловкая пауза. И он заговорил торопливо, доброжелательно, заговорил о том, ради чего мы пришли:

— Дело вот в чем. Мы получаем на день приличный паек. Иногда у нас остаются кое-какие продукты (тут сержант малость приврал). Мы решили отдавать немного продуктов для ваших детишек. — Рукой потрогал мешок, лежавший на коленях у меня. — Вот тут мы кое-что принесли.

Ершов повернул голову к жене: как, мол, ты? Галя вздернула худенькими, острыми плечами, нерешительно сказала:

— Не знаю, Ваня, как ты...

Я поднялся, держа вещмешок на вытянутой руке, почти непрерываемо проговорил:

— Галя, возьмите, выложите продукты, а мешок мне.

Она поднялась со скамеечки, робко подошла ко мне, обеими руками взяла лямки мешка, прижав к груди, ушла в хату.

Иван Ершов тоже встал, подошел к ограде, посмотрел в одну сторону улицы, в другую, словно хотел убедиться, что нас никто не подслушивает, вернулся.

— Наш участковый Оська Штыба, еще и Ведьмой дразнит его, такой паразит, во все дырки сует свой грязный нос. Днем и ночью шнырит везде, все высматривает, вынюхивает, никому не верит, сволочь! — Ершов снова оглянулся, прислушиваясь. — Так вот я и говорю: ежели он узнает, што

вы нам тут... может учинить и нам и вам какую-нибудь пакость.

— Милиция нам, армейским, не указ, — сказал Хмелев. — Ведьме мы запросто можем утереть, как вы сказали, грязный нос. О нас можете не беспокоиться.

Вернулась Галя. Подавая мне пустой мешок, всхлипнула:

— Не знаю, как и благодарить вас, добрые люди. Спасибочко вам и всем вашим солдатикам.

Иван — уже откровеннее — заговорил:

— Голод не только в нашей станице, а по всей Кубани, скрозь гинут как мухи. Хотя недорода в прошлом годе не было. Хлеб уродился, слава Богу: и государству вывезли сполна, и посевной хвонд засыпали в норму. Да и колхозникам выдали на трудодни аж по двести граммов. Все честь по чести. А от когда озимые посеяли, так тут поналетели всяко-разно уполномоченные, как черные вороны, из райкома, из крайкома и черт знает откуда. И началось такое, даже уму непостижимо... Выгребли под метелку все посевные, до единого зернышка отбирали. У некоторых даже печеный хлеб прихватывали... Зимой начали люди помирать с голодухи...

— А колхозники что? Стали уходить из станицы, в город убегать? — спросил Хмелев.

— И теперь уходят, — кивнул Иван. — Да резону мало из того, что уходят. Справки в стансовете не выдают, не положено, говорят. А без справок железная дорога не продает билеты. От и топают пешим ходом в город, считай, за сто верст. Кто помирает в дороге, — снова обвел он потухшим взглядом всех нас, хрипловатым от волнения голосом продолжал: — И знаете, раз увидел я на краю поля загасшее огнище, а в золе — людские кости. Должно, те, кто еще мог идти, кто живой еще был, поеда-

ли загинувших; поджаривали мяса на костре. Да и которые доходили до города, все едино толку мало. Без справок из стансовета на работу не принимали. Куда же податься голодному? И не одна семья у нас сгинула, наложила на себя руки: на ночь истопят печку, трубу на заслонку — и конец всем: и старым и малым; от и в этой хате то ж самое было...

Рукавом косоворотки провел по глазам, продолжал:

— Обычай у нас такой был. С давних времен каждая семья хранила и передавала от родителей к детям золотой червонец. Это была самая дорогая, святая, что икона, семейная память. В прошлом да еще и в нынешнем году налетят, бывало, всяко-разно уполномоченные, каждый день вызывают в стансовет казаков, трясут как черт грешную душу, отбирают золотые червонцы в казну, государству, стало быть. Но никаких квитанций, никаких расписок никому. Кто требовал эти бумажки, выпихивали из стансовета да еще грозились тюрьмой. А кто шибко упрямился, пальцы закладывали в дверь и тискали, покуда кровушка не потечет из-под ногтей...

Одни уполномоченные нахапали золотишка, тайком смотались из станицы, а на ихнее место припожаловали другие и еще пуще начали мытарить казаков. Энти тоже укатали, приехали трети... — Иван зло усмехнулся: — Когда все червончики повыгребли, привалила цельная свора уполномоченных. Заставили станичных «активистов» посымать с куполов храма позолоченные кресты, в храме новые ризы, иконы, увезли неведомо куда. И все энти наезжавшие в станицу были не нашенского, не казацкого роду-племени... От оно как было...

— И у вас был такой червонец? — спросил Хмелев.

— Был.

— И его тоже отобрали?

— Нет, цел остался, — с достоинством ответил Иван. — Я сбрежал им, мол, у меня нету. Мол, покойный мой родитель продал его еще в двадцать первом голодном годе...

IV

После этой коротенькой с наглядными, живыми примерами «лекции» простого деревенского мужика все громкие, высокопарные слова политруков разом померкли в наших глазах, рассеялись как дым. Да и сами мы многое увидели в станице, почувствовали и пережили. И сплоченнее, и внимательнее стали относиться друг к другу, да и к станичникам тоже.

Как-то раз зашел я в одну хату и прямо остолбенел.

У самой стены на лавке лежал почти высохший ребенок лет пяти-шести, над ним склонилась женщина, держа в руке нож. Она с трудом старалась отрезать ему голову! Нож и руки были в крови. Она меня не видела, но инстинктивно почувствовала присутствие постороннего. Медленно повернулась в мою сторону и тут же бросилась ко мне. Она смотрела на меня, но вряд ли видела, ее глаза были сухие, лишены всякого блеска и напоминали глаза мертвеца, которому еще не закрыли веки. Ее руки и ноги были настолько худы, что, казалось, вот-вот переломятся. Она подняла на меня нож и тут же упала.

Не помню, как и выскочил из хаты. Товарищи укладывали на машину очередного покойника. Рассказал им об увиденном. Сержант, за ним я и еще кто-то кинулись в избу. Женщина лежала на земляном полу вверх лицом с открытыми мертвыми глазами.

Председатель, которому мы рассказывали об этом диком случае, даже глазом не моргнул, хладнокровно молвил: «Ну что же, хороните их вместе с другими покойниками».

Относительно благополучно закончили мы первую неделю в станице. В субботу дневалил Яков Тищенко, наш признанный повар. Во время завтрака он нерешительно объявил, что на обед продуктов осталось с гулькинос, а хлеба и того меньше, что ребятишкам Ершовых сегодня дать нечего. Все как по команде положили ложки на стол, выжидательно смотрели на командира.

Хмелев сказал: «Ну что же, братцы, поработаем полдня и без обеда уедем в город. Там, в своей роте, думаю, найдем чем подкрепиться. А нет — подождем до ужина, поди, не околеет. Остатки продуктов передадим для малышей».

После полудня мы укатили в город.

И тут случилась досадная осечка: нашу машину поставили на профилактический ремонт. Вернулись мы в станицу только через два дня. Вот эти злосчастные два дня, считай, решили судьбу Ивана Ершова...

V

На крылечке нашей «казармы» сидел сгорбленно дедушка Назар, сосед Ершовых; не поднялся он с места и когда машина заехала во двор.

Входная дверь сенок была заперта на висячий замок. Яков Тищенко, взяв ключ в условленном месте, подошел к крылечку. Едва успел он открыть дверь, старик первым тяжело проковылял в хату. Прошел в большую комнату, сел на краешек лавки, терпеливо ждал.

Мы перетаскали в дом вещи, продукты, собравшись в горнице, разместились кто где. Хмелев, войдя, позвал руку гостю, сел рядом, спросил:

— Что это ты, дед, вроде как напуган чем?

У дедушки Назара затряслись губы, лицо искривилось, он даже заикаться стал:

— Ва-аню Ерш-шова рас-стрел-ляли, ир-роды! — И он заплакал.

И стало тихо в хате до ломоты в ушах. Потом мы все задвигались, переглядываясь, загалдели.

— Как это — расстреляли?.. За что — расстреляли?

А произошло все вроде бы неожиданно, случайно. Хотя...

Целых три дня — субботу, воскресенье, понедельник — не выдавали хлеб работающим колхозникам. Истинной причины никто толком не знал: то ли запас муки кончился, то ли пекарня сломалась. Три дня колхозники вкалывали на полях по двенадцать-четырнадцать часов, получая черпак жидкой похлебки. И люди еще больше навалились на всякую дикую зелень: крапиву, лебеду, молочай... и умирали, умирали.

Три дня Иван Ершов не приносил домой ни крошки; не было сил каждый день видеть детские слезы, слышать мольбу: «Папаня, исть хочу, хлебца дай...» Хоть зажимай уши и беги куда глаза глядят или... петлю на шею. Добрым словом вспоминал он красноармейцев: помощь солдат малость поддержала детишек. Но Ершов понимал, что все это временно, что их, бойцов, запросто могут отозвать из станицы, перебросить в другое место. И когда в понедельник утром отряд сержанта Хмелева не вернулся в станицу, Иван Ершов решил, что это уже навсегда, и совсем пал духом. За те дни, что малышей кормили одной пареной зеленью, они совсем отощали, позеленели, начали опухать. А там...

В понедельник после обеда, улучив момент, из короба сеялки набрал Ершов в карманы кукурузных зерен. Первый раз в жизни решился он на такое. Страшно боялся, переживал, ему казалось, что кто-то из колхозников заметил, но помалкивает до поры: приедем, мол, на колхозный двор, там

Оська Штыба тряхнет тебя... Хотел было незаметно высыпать куда-нибудь эти проклятые зерна, но...

Случалось, под конец рабочего дня забарахлит вдруг мотор трактора и, пока Иван возится с ним, все колхозники — кто на машине, кто на подводах, а иные и пешим ходом — уберутся с поля. Приедет он на колхозный двор, а там уже ни души. И, глядишь, миновал Ершова обыск. И на этот раз, чтобы избежать обыска, стал копаться в моторе. Когда все убрались, он завел мотор, поехал, правя на колхозный двор. И вдруг испугался, не стал рисковать, поехал другой дорогой, свернул в глухой переулок, направляясь к своему двору. Остановился у ворот, не глуша мотора, забежал в хату. Ребятишки в это время были в огороде. Иван заглянул в горницу, нет ли там кого-нибудь из соседей, нетерпеливо попросил жену:

— Торбочку найди, да поживей!

Галя нашла холщовую сумку. Иван торопливо выгреб из карманов кукуру до зернышка, внимательно осмотрел пол вокруг себя: не просыпал ли случайно.

Несказанно рада была Галя: истолочь зерно в ступе и мукой заправлять суп можно целых два дня. А там, глядя, и хлеб станут давать. Но она не могла понять, отчего Иван так волнуется, даже руки трясутся... Затаив тревогу, спросила:

— Откудова это, Ваня?

— Выдали на трудовни, — сказал Иван, отводя глаза в сторону.

— От посевной осталась кукуруза, что ли? — не унималась жена.

Тот промолчал.

— Почему так мало? У тебя же трудовней, наверное, сто будет.

— Ладно, потом! — сердито буркнул Иван, торопясь. — Спрячь пока подальше, чтобы дети не нашли. — И убежал, хлопнув дверью.

Страхнула Галя кукурузные зерна

в один угол сумки, в тугой комок свернула, пройдя в горницу, подняла крышку сундука, запихала сверток под самый низ барахлишка.

VI

Иван Ершов полагал, что на колхозном дворе теперь никого уже нету, и ехал уверенно, надеясь побыстрее вернуться домой, подкормить малышей.

Заезжая во двор, он увидел: колхозников действительно уже нету. Но посреди двора стоят: бригадир полеводческой бригады Илья Павлович, участковый милиционер Оська Штыба и Сомов — уполномоченный из района, а в кабине машины, стоявшей поодаль, дремлет шофер Федотка. Ершов подумал, что уполномоченный, наверное, собрался уезжать домой, в район; посевная, считай, закончена, и ему больше нечего тут делать. Но почему мешкают, кого ждут?

Свернул Иван вправо, неподалеку от ворот остановил трактор и, не глядя в сторону начальства, хотел уйти домой. Но не тут-то было. Торопливо подошли к нему те трое. Оська Штыба кивнул бригадиру, и тот, шагнув к Ершову, начал обыскивать. Ощупал карманы пиджака, штанов — пусто!

— А почему ты, голубчик, приехал не по той улице, по которой теперь ездят с поля, а совсем с противоположной стороны? — уставясь своими желтыми, как у кошки, глазами в лицо тракториста, спросил Штыба. — Домой заезжал? Зачем?

У Ершова и в мыслях не было, что на это — с какой стороны подъехал он к колхозному двору — могут обратить внимание. И не сразу нашелся, как ответить. Раньше мог сказать, что, мол, хлеб отвез домой, ребятишки целый день голодные. Но вот уже три дня не выдавали хлеба... После заминки неуверенно сказал:

— Сынишка шибко захворал, надо было поглядеть. Разве это преступление?

Не глядя на начальство, бригадир нерешительно вступился за тракториста:

— Да, я знаю. У него трое малых. Известно, в колхозе нету садика, вот и сидит мать дома с малышами. Тракторист никогда не ест свою пайку хлеба в поле, а везет домой, чтобы хоть малость подкормить детей...

— Но сегодня хлеб не выдавали,— перебил Оська Штыба бригадира на полуслове.— За каким таким делом гонял машину на другой конец, а?

— Вам же по-русски сказано, заболел ребенок,— осмелев, повысил голос бригадир.

Уполномоченный из района покосился на тракториста:

— Знаем таких!.. Ссылаются на детей, разжалобить хотят!..— Распорядился:— Все в машину!

Отчаянно теребя рыжую окладистую бороду, дедушка Назар вздохнул горестно:

— На свою беду проходил я тем часом мимо колхозного двора. Увидал меня Оська, машет: «Подь-ка сюды, Назарка!» Подхожу, спрашиваю: «Для какой такой надобности кликал?» Он режет меня своими выпученными зенками: «Сей же час едем на обыск, понятым будешь... Полеза́й в кузов!» И мы, стал быть, поехали к Ивану Ершову.

Галя с ребятами только успели поужинать; налив в чашку теплой воды, она полоскала ложки. И тут пожаловали в хату незваные гости. Галя знала их всех, не раз бывала на колхозных собраниях.

Последним вошел на кухню сам хозяин, остановился у порога. Прислонясь к косяку плечом, опустил голову: лицо бледное, беспокойное, губы аж синие. Взглянув на него, Галя обмерла, выронив из рук ложку. Теперь

она поняла, где взял Иван кукурузные зерна и зачем пожаловали гости...

Увидев отца, Надя радостно залепетала:

— Папаня плишел, хлебчика плинес,— заерзала на лавке, намереваясь сползти на пол. Но, увидев целую толпу хмурых дяденек, враз присмирела.

К столу подошел гәпәушник Сомов, приюхиваясь, внимательно осмотрел стол, посуду, вкрадчиво спросил:

— Успели, знатца, отужинать?

Хозяйка молчала. Ребятишки пугливо жались друг к дружке. А онухмыляясь допытывался:

— И чем вкусненьким кормила своих птенчиков?

На столе стоял чугунок с остатком супа — пареной крапивы, накрытый тряпкой, чтобы не остыл. Иван еще не ужинал, его поджидали. Сбросив тряпку, Галя зачерпнула полный черпак бурдомаги, поднесла к самому лицу уполномоченного, крикнула:

— На, гад, понюхай, чем оно пахнет, чем кормлю я своих детишек! Чего морду воротишь, не привык к такому угощению?

— Ну ты... не очень-то! — отступая, угрожающе крикнул на женщину гәпәушник.— А то не посмотрю! — Повернувшись к мужикам, стоящим в сторонке, приказал: — Обыскать избу, все углы и закутки обшарить. А там поглядим...

Участковый милиционер Оська Штыба рад стараться: согнал всю семью Ершовых в угол кухни, велел сидеть, не рыпаться. Зажег керосиновую лампу, стоявшую на припечке, передал ее деду Назару, наказал: «Будешь подсвечивать нам с бригадиром. Да чтобы попроворнее шевелился, черт однорукий!»

Илья Петрович лениво слонялся, нехотя заглядывая в русскую печь, в шкапчик, под лавки. Но уполномоченный ходил за бригадиром по пятам, тыкал пальцем: вот здесь не смотрел,

вон туда загляни да повнимательнее ищи. Зато Оська усердствовал без пошуканий. Забрался на лежанку, швырял там всякое тряпье из угла в угол, покрикивал на деда Назара:

— Сюда посвети! А теперь сюда! Што поворачиваешься, как старая корова, сюда, те говорят!

Перешли в горницу. Милиционер двинулся к семейному сундуку. Подняв крышку, медленно, поштучно выбрасывал на пол платья, юбки, мужские брюки, белье, детскую одежду. Каждую вещь встряхивал. На самом дне сундука нащупал тугой сверток, развернул его: торбочка. Сунув руку внутрь, торжествующе воскликнул:

— Ага! Вот оно!..

— Что там?— спросил уполномоченный.

— Ку-ку-ру-за!— словно петух пропел Оська Штыба.— Што и требовалось...

Бригадир глянул на торбочку, на дне которой была самая малость, махнул рукой:

— Тут и делов-то... зря время потратили, ребятишкам спать не даем.

— Дело-ов!— процедил сквозь зубы уполномоченный.— Защищаете расхитителей социалистической собственности? А закон от седьмого августа прошлого, тридцать второго года? Для чего он издан?..

Такого оборота дела Илья Петрович не ожидал. При упоминании об этом законе у него затряслись подколенки. Еще, чего доброго, пришьют ему пособника воров, и тогда останутся его собственные детишки без отца... И он пожалел уже, что вмешался в это дело, молчал.

Мотнулся Оська на кухню, тряс торбочку перед носом тракториста, попытался:

— Эт-та што-о?..

Сидя на кухне, Иван Ершов успокоился малость, трезво размышлял: если бы, дескать, кто-нибудь из кол-

хозников видел, как он брал кукурузу, и донес этим службистам, то они непременно пригласили бы сюда доносчика, на очную ставку. Выходит, эти сволочи так вот, ни с того ни с сего, прицепились. «А раз так,— думал Иван,— еще поглядим...» И на вопрос милиционера, не моргнув глазом, ответил:

— От посадки в огороде маленько ос-талось. Думали подвернется клочок земли—еще посадим. Чего вяжешься?

— Дурачить вздумал? Не выйдет! Колхозное зерно протравлено формалином, экспертиза покажет, чье оно, зерно-то! Усек? Одевайся, едем в район. Да шевелись!

Не знал Ершов, что кукурузное зерно перед посадкой протравливают формалином, подумал: врет Штыба, пугает. Ну, а ежели что... скажет в районе, что свое зерно тоже протравлял. Бросил, вставая:

— А я одетый, поехали.

После продолжительной тягостной паузы Михаил Хмелев спросил:

— Откуда вы узнали, что Ершова расстреляли? Может, брехня, досужие сплетни. Может, он еще в районе?

Рукавом косоворотки утер дедушка Назар глаза и уже более внятно:

— Нонче рано утром согнали на колхозный двор народ, кто еще мог шевелиться. Из району прикатили две машины, «черный ворон» и бортовая, с целой оравой милиционеров. Машины в углу двора бросили, подальше от народа. Милиционеры цепью встали. Из «черного ворона» два дюжих вывели Ивана, без фуражки, руки за спиной связаны. Из кабины высунулся человек в очках, встал на подножку, прокричал приговор суда—и снов в кабину.

Жена Ершова, Галя, закричала отчаянно: «Ванечка, родненький, за что же они тебя, ир-роды? А как же я с детками-то?..» Дети ревели, звали от-

ца: «Па-подталк-Но Ось-тили е-па воз-лись кр-женщин-Хуже з-дохла с-лочи!»

Галя Штыба потерял Иван за-тые, что-к жене толкали крикну-щайте,

У дед-лись гу-тишина. шмыган-вание. И

— По-понесли-мом мес-тот про-ло в при-труп, с-дарстве-жать в-стансове-на клад-

И уж-— Ну-ничный-ков. Но-стерегч-лось...

Шофе-чальный-Николай

— А-— Ве-отсудов-поднялс-торое в-кивали,

ца: «Папаня, иди до до-му!..» Галя подталкивала их, кинулась к мужу. Но Оська Штыба и гэпэушник схватили ее за руки, держали крепко. Толпа возмущенно загудела, послышались крики: «Ироды поганые! Дайте женщине и детишкам проститься... Хуже зверей!.. Половина станицы подохла с голоду, ешо вы убиваете, сволочи!»

Галя кричала, рвалась к мужу, но Штыба и Сомов держали цепко. Она потеряла сознание, упала на землю. Иван заматерился: «Зверюги проклятые, что же вы творите?!» Рванулся к жене и детям. Но его схватили, затолкали в машину. Он только и успел крикнуть надрывным голосом: «Прощайте, мои милые! Прощай, Галя!..»

У дедушки Назара опять задержались губы. В горнице стояла мертвая тишина. Только временами слышалось шмыганье носом да глухое покашливание. И он продолжал:

— Потом машины на полном газу понесли в поле и там... На том самом месте, где Иван Ершов украл этот проклятый кило кукурузы. Так было в приговоре. И еще было записано: труп, стало быть, расхитителя государственной собственности должен лежать в поле три дня. И только потом стансовет зароет его где-нибудь. Не на кладбище...

И уже от себя Назар добавил:

— Ну а для охраны убиенного станичный совет определил троих стариков. Ночью, стало быть, поочередно стерегчи будут. От оно как обернулось...

Шофер военной машины, тихий, молчаливый парень родом из Белоруссии, Николай Луферчук спросил вдруг:

— А далеко то поле?

— Версты, должно быть, полторы отсюда. — Дедушка Назар тяжело поднялся с лавки, подошел к окну, которое выходит во двор. Мы все повскакивали, сгрудились за его спиной. Он

протянул правую здоровую руку, расправив ладонь, пояснил: — От глядите: так от прямо-прямо. С того конца вашего огорода хорошо видать лесок, березовый колок, подле него длинный сарай, накрытый соломой. Называется у нас «культстаном». Там варят на обед похлебку, от дождя укрываются колхозники. Около подводы ставят, трактор, машину. А по другу сторону лесочка — на заход солнца — Ваню Ершова и тово...

VII

Короткими, нервными шагами заходил по горнице сержант Хмелев. Остановился около меня, попросил:

— Степа, собери быстренько продукты, как всегда, и отнеси детишкам. — Потом добавил: — И посиди там подольше. Сам понимаешь, каково Гале сейчас одной.

Я медлил, переминаясь с ноги на ногу, пробормотал:

— Неподручно как-то одному. Об чем говорить с женщиной, когда у нее такое горе? Я и не знаю, как там вести себя...

Никто из ребят не усмехнулся, слушая такую, прямо-таки детскую отговорку мою. Уж больно щепетильное поручение, и каждый, наверное, почувствовал бы себя так же неловко, как и я, если бы поручили ему! И Хмелев кивнул понимающе:

— Ну что ж, возьми себе в напарники кого хочешь. Быстренько соберите и топайте.

Позвал я своего земляка Якова Тищенко. Собрали продукты, сложили в рюкзак и пошли. Чтобы не маячить на глазах у прохожих, прошли мы своим огородом, мимо колодца, зашли в огород Ершовых, а там и во двор к ним. Увидел я двухколесный вместительный возок (тележку), и в голове моей возник вдруг дерзкий план.

Остановился, придерживая за руку напарника:

— Давай ночью на этой «тачанке» увезем с поля Ивана, положим в кузов нашей машины, а завтра вместе с другими покойниками схороним в братской могиле. Пускай потом станичное начальство ищет его. Как ты?

Испуганно посмотрел Тищенко на меня, покосился в сторону улицы, спросил:

— А ежели дознаются?

— Как это дознаются? Откапывать могилу станут, что ли?

Яков согласился. В самом деле, кому придет в голову дурацкая мысль: искать, копать среди сотни покойников?.. Он сказал:

— Может, поехать в поле на нашей машине? Быстрее и легче. И шофер наш, Николай Луферчук, думаю, согласится. Парень он надежный.

— Что ты! — замахал я руками. — Ночью машина заревет, взбудоражит всю станицу. А в поле сторож может быть. Такой гвалт поднимет.

И мы поспешили в хату. Что там ждет нас?..

На столе в кухне поставили рюкзак с продуктами, прошли в горницу. Остановясь у порога, тревожно переглянулись: живы ли они?..

Должно быть, как привезли колхозницы на тележке Гаю в беспамятстве, положили на кровать, так и лежит она, не приходя в сознание. Рядом с мамой самый младший, Павлуша. Оля и Надя, свернувшись калачиком, лежат у ее ног. Ребятишки посапывали, а Галя вроде не подавала признаков жизни. Что делать?..

Но вот Галя тихонько застонала, чуть шевельнулась. У меня и Якова отлегло от сердца. Подошли ближе, остановились. Посиневшее лицо Гали распухло от слез, дышать стала чаще, громче постанывала, веки закрытых глаз временами вздрагивали. Чув-

ствовалось, что она проснулась уже или вернулось к ней сознание.

Тяжело поднялась, села, опустила босые ноги на пол. Некоторое время смотрела на нас, но вряд ли видела: глаза ее были сухие, взгляд блуждающий, бессмысленный.

Детишки проснулись, сгрудились за спиной матери, испуганно таращили глазенками на дяденек, ревели на разные лады.

Плач детей, видимо, отрезвил мать, лицо ее напряглось вдруг, покрылось розовыми пятнами, стало жестким.

— Што, ироды, пришли за мной? И меня хотите арестовать? — Завернула руки за спину, обхватив, прижала к себе детей. — Тогда забирайте всех, подыхать, так всем вместе. Чего ждете?

— Ну, что ты такое придумала, Галя, — как можно спокойнее упрекнул я соседку. — Ты что же, не узнаешь меня? Степан Зозуля я, Степка, а это мой друг Яша Тищенко. Узнала меня? Мы принесли вам немного продуктов.

Кажется, только теперь сообразила Галя, кто перед нею, задыхаясь от волнения, протянула:

— Сте-е-ушка!.. — И на большее не хватило у нее силенок. Закрыв лицо ладонями, зарыдала громко, покачиваясь из стороны в сторону.

Мы стояли подавленные, не пытались утешить бедную женщину. Да и чем могли? Что могли сказать ей, горемычной? Одно понимали: Гале надо выплакаться и тогда отойдет малость, полегчает.

Ребятишки услышали, что дяденьки принесли какие-то продукты.

— Ма-а, исть хотим, исть! Ну, ма-а!..

Галя разом утихла, сняв головной платок, висевший на спинке кровати, скомкав его, утерла лицо. Поднялась, одернула платье, взяла на руки Павлушу, девчушек позвала:

— П
вас. —
лась, н
сказал
так во
собою
ше ми
мы бы

— Н
я, — та
и благ
сил: —
приход

Я и
у стола
на кух
множк
лила е
тика х
го на

— М
тихоне
животи
может

Оста
шкафч
пустым
цу. Ос
тельно
дывала
вор, о

И я
торые
разом
чал сб
ловек,
ни нас
нен по
И уже

— Т
ночью
вашего
хорони
могилк
ся... от
бище
ничных
в брат

— Пойдемте на кухню, покормлю вас.— Проходя мимо, приостановилась, коснувшись рукой моего плеча, сказала:— Извиняй, Степушка, што я так вот... Не узнала поначалу. И спасибочко всем вашим хлопчикам за ваше милосердие. Без вас, родненькие, мы бы давно...

— Ну что вы, Галя,— пробормотал я,— такая малая наша подмога, что и благодарности не стоит.— И попросил:— Вы дайте детишкам поесть и приходите сюда, разговор есть.

Я и Яков Тищенко сели на лавку у стола, поглядывали в открытую дверь на кухню. Налила Галя в блюдце немножко подсолнечного масла, подсолонила его, от булки отрезала три ломтика хлеба, раздала малышам, строго наказала:

— Макайте хлебушек в масло и потихонечку ешьте, не торопитесь, а то животики потом заболят. И помереть можете.

Остальные продукты выложила в шкафчик на самую верхнюю полку, с пустым рюкзаком вернулась в горницу. Остановилась у стола, выжидательно, не без тревоги в глазах поглядывала на меня: какой, мол, разговор, о чем?..

И я стушевался вдруг: те слова, которые подготовил и вроде обдумал, разом улетучились из головы. И начал сбивчиво, нескладно: каждый человек, мол, где и какая бы смерть ни настигла его, должен быть похоронен по-человечески, по-христиански. И уже более определенно пояснил:

— Так вот мы с Яшей и решили: ночью на тележке увезти с поля тело вашего мужа и похоронить. Но где хоронить? На кладбище, в отдельной могилке — опасно: участковый хватится... отыщет свежую могилку на кладбище и, чего доброго, заставит станичных активистов откопать. Может, в братской могиле похоронить вместе

с другими покойниками, которых мы собираем по станице?

— Нет, нет! — замахала руками Галя и заплакала.— Не хочу в общую могилу, не хочу!

Из кухни донеслись умоляющие детские голоса:

— Ма-а, еще хлебчика!

Галя поспешила на кухню, к детям.

Яков и я растерянно переглянулись: мы грешным делом подумали, что соседка вообще не хочет, чтобы мужа хоронили. Почему?..

— Идите, миленькие, в садик, поиграйте немного, потом еще дам хлебушка. За один раз нельзя есть много, заболеее. Идите.

Проводив ребятишек, Галя вернулась в горницу. Подошла к окну, выходящему на улицу, какое-то время смотрела куда-то, молчала. Не поворачивая головы, позвала меня:

— Степушка, подь сюда.

Когда я подошел, сказала тихо, но довольно настоятельно:

— Я хочу, чтобы Ваня был похоронен тут вот,— рукой показала за окно.

— В палисаднике? — невольно вырвалось у меня.

— Хочу, чтобы он, родненький, всегда был дома, всегда рядом со мной и детишками. Когда они подрастут, непременно же спросят, где их папаня? И тогда я расскажу им, кто и за какие такие грехи его убил, и покажу, где лежит...

Через окно я внимательно осмотрел просторный палисадник, прикинул: между стеной хаты и разросшимися поодаль двумя кустами сирени выкопать скромную могилку, опустить гроб, засыпав, тщательно утрамбовать, сравнять и посыпать песком. Как говорится, потом и комар носа не подточит...

VIII

Из рассказа дедушки Назара мы уже знали, что расстреляли Ивана Ер-

шова на дальней стороне березового колка, где и бросили в назидание охотникам за государственным добром. А бригадный культстан — с ближней стороны колка. Сторож, конечно, будет сидеть там, под крышей, побоятся же сидеть около.

Впрягся я в оглобли тележки, а Яков — впристяжку. Время было за полночь. Миновали колодец, поехали «своим» огородом, зная, что в дальнем его конце ограды нету. Выгоном шли скорым ходом, почти наугад. Пройдя с полкилометра, на фоне темного звездного неба увидели силуэт березового колка, пошли на этот ориентир.

Тележку оставили поодаль от колка, чтобы не гроыхать колесами. Шли, осторожно ступая, останавливались, оглядывая место вокруг. Подошли к колку. Ветерок шелохнул листья, пахнуло холодком. Я опустился на корточки, шагая гусиным шагом, до рези в глазах напрягая зрение, вглядываясь в каждую кочку, каждую выпуклость. Яков согнулся, упираясь ладонями в колени, ходил пошустрее меня. Он первым наткнулся на тело. Лежал Иван Ершов навзничь, одна рука прижата к телу, другая слегка откинута.

Тело успело окоченеть, не сгибалось. Я взял покойника под мышки, а Яков — под колени, осторожно ступая, понесли. Уложили на тележку.

Оставив тележку в огороде, на руках перенесли Ивана в амбар, положили на пол, осмотрелись: все приготовлено как надо, а где же хозяйка?

Галя вбежала в амбар, упала на

колени, обхватила руками голову мужа, зарыдала.

Я и Яков стояли рядом. А время шло... Наклонясь, я осторожно тронул рукой Галя за плечо:

— Пора, Галя, успеть бы до рассвета.

Упираясь руками о пол, тяжело поднялась она на ноги, проговорила:

— Надо бы снять грязную одежду, заменить, хоть маленько обмыть его.

Но труп окоченел, и так его разбарабанило, что старая одежда прямо-таки врезалась в тело. Снять можно было только разрезав ее. А время торопило. С жалостью и тревогой смотрели мы на хозяйку: нам еще могилку рыть, не успеем, дескать, до рассвета.

Поняла Галя, согласилась:

— Может, хоть поверх старой наденем новую, чистую?

Общими усилиями натянули на покойного брюки, рубашку. Намочив конец полотенца, обмыла Галя лицо мужа, поцеловала в холодные, безжизненные губы, с головы до ног закрыла простыней.

...Уже начало светать, когда мы наконец-то закончили работу, заровняли могилу. Оставшуюся землю ведрами перетаскали в самый дальний край огорода, рассыпали в зарослях бурьяна.

Пока мы с Яковом засыпали могилу, молодая женщина окаменело сидела на лавочке поодаль, поднеся ко рту скомканный платок, поднимая взгляд в темно-синее небо, усеянное угасающими звездами. Словно пыталась отыскать ту единственную, ту несчастливую звезду, под которой она родилась.

Истор
М. Д. И

Как и
ву в тру
солдатчи
отбывал

Омского

Напом
Мария

жем за
таможни
«В своем
она была
ли неудач
терял ме
сына в у
Марии Д
ной и в
моменту
уже глуб

Достоев
ленную»
тельным,
тером».

В мае
палатинск
нии Куз
заседател

Достоев
триевой

В авгу
Дмитриев

леньким с

Достоев
ей матери

письме ее
ловании...

Любовь Никонова

ДОСТОЕВСКИЙ И ИСАЕВА: ВЕНЧАНИЕ В КУЗНЕЦКЕ

История любви Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой — и светлосна и трагична.

Как известно, Достоевский встретил Исаеву в трудную пору своей жизни — во время солдатчины, которую он, бывший петрашвец, отбывал в Семипалатинске после четырех лет Омского острога.

Напомню внешний абрис этой истории.

Мария Дмитриевна Исаева состояла замужем за чиновником по особым поручениям таможи Александром Ивановичем Исаевым. «В своем браке,— как пишет современник,— она была несчастлива»: ее мужа преследовали неудачи, он пристрастился к алкоголю, потерял место, вверг жену свою и маленького сына в унижения и крайнюю бедность. Силы Марии Дмитриевны, натуры хрупкой, нервной и впечатлительной, были подорваны, к моменту знакомства с Достоевским она была уже глубоко больна чахоткой.

Достоевский полюбил «униженную и оскорбленную» женщину со «странным, подозрительным, болезненно-фантастическим характером».

В мае 1855 года Исаевы переехали из Семипалатинска в уездный городок Томской губернии Кузнецк: Исаев получил здесь место заседателя по корчемной части.

Достоевский поддерживал с Марией Дмитриевной переписку.

В августе 1855 года Исаев умер, и Мария Дмитриевна осталась в Кузнецке одна с маленьким сыном, почти без средств к жизни.

Достоевский пытался через друзей помочь ей материально; осенью 1855 года просил в письме ее руки: настойчиво хлопотал о помиловании...

В 1856 году переписка приняла драматический характер: Исаева сообщила Достоевскому о намерении выйти в Кузнецке замуж.

О настроениях Достоевского в связи с этим говорят его письма: «Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния», «Для меня все это тоска, ад», «Люблю ее до безумия», «Я погибну, если потеряю своего ангела — или с ума сойду, или в Иртыш», «Не заживает душа и не проживет никогда»...

В июне 1856 года Достоевский на два дня приезжал в Кузнецк, чтоб разрешить отношения с Марией Дмитриевной. Ему стали известны личность и имя его кузнецкого соперника — им оказался 24-летний учитель уездной школы Николай Борисович Вергунов. Мария Дмитриевна не сказала Достоевскому окончательного слова.

В ноябре 1856 года Достоевский второй раз приехал в Кузнецк — уже в чине прапорщика, уже с надеждой на полное помилование — и провел в городке пять дней. В этот приезд он добился согласия Марии Дмитриевны на брак.

В конце января 1857 года он снова приехал к Марии Дмитриевне — уже с намерением обвенчаться.

Венчание состоялось в Кузнецкой Одигитриевской церкви 6 февраля 1857 года. Поручателем со стороны жениха был его соперник Николай Вергунов.

Некоторые исследователи жизни и творчества Достоевского доказывают по косвенным источникам, что Достоевский, по мнительности и странности характера, пережил перед венчанием мучительные мгновения, бо-

ясь, что Исаева передумает, откажется от венца, «переметнется к Вергунову».

Впоследствии эти волнения отразились в романе «Идиот», в сцене бегства из-под венца Настасьи Филипповны Барашковой.

В Кузнецке же все закончилось благополучно.

В середине февраля 1857 года Достоевский с женой уехал в Семипалатинск. В целом за три приезда он провел в Кузнецке 22 дня. Мария Дмитриевна Исаева прожила здесь год и 9 месяцев.

Брак их был несчастлив.

Через семь лет после венчания, в 1864 году, в Москве в возрасте 36 лет М. Д. Исаева умерла от туберкулеза.

* * *

В литературе о Достоевском существует много интерпретаций этой любви.

Но преобладают оттенки и вариации двух направлений: дионисийского (экзальтация, страсть, «грозное чувство») и «прозаического» (физиология, приземленность).

Но и «романтическое начало, и «прозаическое» принадлежит долу, миру сему; это две стороны одной медали, два явления одного несовершенного мира, отпавшего от Творца.

Достоевский же был личностью громадной, вмещавшей не только стихии земли, но и тишину Неба. Сын, житель и знаток мира окаянного, он прозревал и святой мир. А это возможно только через Христа.

И его отношения с Марией Дмитриевной Исаевой, неровные, тревожные, болезненные («земные»), тем не менее смягчены настоящим христианским омовением («небесным»).

Сразу после выхода из Омского острога, перед отправлением в Семипалатинск, он написал Н. Д. Фонвизинной:

«...я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне исти-

ны, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Он имел право говорить, что он — «со Христом». Четыре года в остроге он мог читать только одну книгу — там разрешалось только Евангелие. Это гениальный-то писатель и гениальный читатель! Четыре года чтения одной и той же книги — богооткровенной. Четыре года только со Христом... Это не оценено еще. Не понятно...

И еще он скажет: «Я социалист, но переменил идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет».

И вот после эшафота и каторги, с обреченным, сознательно исповедуемым Христом в сердце, встречается он в Семипалатинске прекрасную, самоотверженную, но обездоленную, обделенную и уже смертельно больную женщину. «Женщину души возвышенной», доживающую, как он писал, «свою последнюю мысль...»

Разве мог он не откликнуться?

Исаева — довольно поздняя любовь Достоевского (в 1854 году, когда он приехал в Семипалатинск, ему было 33). Зрелое чувство собрало в себе разные виды любви. Оттого в этой любви Достоевский так многолик. Недаром многие удивляются, как рядом с крайними аффектами проявляла в нем себя чуть ли не «мещанская» заботливость о шляпках для Марии Дмитриевны, кошельках, шкатулочках...

Но среди волнений человеческой любви в сердце Достоевского не затухало высшее христианское чувство, образующее вокруг Марии Дмитриевны как бы «зону» сострадания, милосердия, прозрачной нежности, участия.

«Ее счастье я люблю более собственного».

Сам будучи в Семипалатинске еще бесправным, совершенно не обеспеченным, он умудрялся оказывать денежную и моральную помощь, да еще так, чтобы она как можно меньше знала, откуда эта помощь исходит.

«Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас...

...когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»...

Достоевский даже брата своего Михаила Михайловича заставлял посылать из Петербурга в Кузнецк Марии Дмитриевне ободряющие письма, сам заготавливая тексты для них, т. е. будучи их прямым автором!

Конечно, был здесь и расчет: показать Исаевой, что родственники Достоевского относятся к ней доброжелательно (чтоб ускорить ее выбор в пользу Достоевского), но главное было все же в другом — в том, чтобы всеми средствами поддержать, спасти измученную, одинокую, недугующую душу.

Это прозрачное евангельское касание хотя бы гипотетического спасения распространялось и на близких Марии Дмитриевны, на ее сына Пашу, которого Достоевский пытался определить в Павловский корпус в Петербурге, на ее несчастного мужа, даже на ее кузнецкого избранника Вергунова.

Отношение Достоевского к Александру Исаеву — совершенно христианское (вплоть до эпитафии на надгробной плите, возложенной в Кузнецке на могилу страдальца; вплоть до образа Мармеладова в «Преступлении и наказании»).

В его отношениях с молодым соперником Вергуновым также чувствуется биение этой христианской жилочки: здесь было и братание с кузнецким учителем, и хлопоты о его благоустройстве; а при свершении таинства венчания жених Достоевский имел своим поручателем именно Вергунова...

И это при том, что Достоевский любил Исаеву аффективно, до предельных (по письмам судя) страстных состояний; это при том, что наряду с ободряющими, добрыми письмами способен был отправить ей «письмо отчаянное, ужасное, которым растерзал ее».

Не чужд он был и ревности.

Но аффективное растворялось в христианском, земное очищалось небесным.

Христианское выражалось еще и в том, что, в сущности, Достоевский отдавал себе отчет в обреченности Исаевой — и, борясь за нее, благодетельствуя, вытаскивая ее из нужды и сумерек, да и самого себя спешно выводя из тяжких обстоятельств именно ради нее («не за солдата же выйти ей!»), он желал вернуть ей утраченное достоинство, порадо-

вать настрадавшееся сердце, вылечить женщину-подранка.

Исаева была «вдова и сирота в полном смысле слова» — и не только физический недуг развился на почве этого, но был недуг и более страшный — душа ее была поражена отчаянием.

Достоевский, спасая Исаеву, боролся со смертью.

И все же он не представлял всей необратимости отчаяния, в котором несколько печальных лет провела его будущая жена; не знал, как глубоко уже сидит в ней жало смерти...

Так и будущий герой его князь Мышкин, вступившись за обреченную Настасью Филипповну, безнадежно опоздает со своей помощью, так же не рассчитает своих сил и не предотвратит гибели отчаявшегося существа.

Но все это откроется позже.

Высший же момент кузнецко-семипалатинского периода — венчание в Кузнецке, в церкви Одигитриевской Божией Матери (Одигитрия, как известно, означает: Путеводительница).

Все устремления Достоевского, все страхи, надежды, радости, все страдания и волнения слились в нечто одно во время этого события.

И все разрешилось в храме.

Для понимания этого важно глубокое наблюдение Павла Флоренского о том, как во время богослужения разрешаются в храме человеческие эмоции:

«Назначение культа — именно претворять естественное рыдание, естественный крик радости, естественное ликование, естественный плач и сожаление — в священную песнь, в священное слово, в священный жест. Не запрещать естественные движения, не стеснять их, не урезывать богатство внутренней жизни, а напротив — утверждать это богатство в его полноте».

Куль, по мнению философа, «доводит каждый аффект до его наибольшего возможного размаха, открывая ему беспредельный простор выхода; он приводит его к благодетельному кризису, очищает».

Все, что мучило, окрыляло, приводило в смятение, переполняло Достоевского в его сложных добрых отношениях с Исаевой, — нашло в кузнецкой церкви «беспредельный простор выхода», превратилось во время венчания «в священное слово, в священный жест» и вознеслось вверх...

И священник Евгений Тюменцев, венчавший Достоевского и Исаеву, как бы подвел черту под былыми потрясениями, произнес необходимую молитву:

«Господи Боже наш, пришедый в Кану Галилейскую и тамошний брак благословивый, благослови и рабы Твоя сия Твоим промыслом по общению брака сочетавшихся; благослови их входы и исходы; умножи во благих живот их; восприми венцы их в Царствии Твоем нескверны; и непорочны и ненаветны соблюдая во веки веков».

* * *

«Брак чист. Ложе нескверно. Тайна сия велика есть»... Но — «мы не жили с ней счастливо», — скажет Достоевский.

Известно, что супруги не обрели желаемого счастья, что благие намерения Достоевского наполнить радостью омраченную душу Исаевой не осуществились и что любовь Достоевского — в том виде, в каком заявляла о себе до брака, — довольно скоро померкла.

Причину видят прежде всего в Достоевском, в его тяжелом характере, в двойственности его натуры, в отягощении страстями.

Но почему же тогда князь Мышкин, настоящий христианский агнец, не отягощенный ни злом, ни грехом, не смог дать счастья Настасье Филипповне, которая, как и Мария Дмитриевна, «страдала много»?

Дело, наверное, в том, что и Мария Дмитриевна, и Настасья Филипповна — натуры, сожженные отчаянием. К моменту встречи со своим избавителем они уже сгорели в непосильной борьбе со злом, уже перешли грань, отделяющую жизнь от ее таинственного антипода.

«Как трудно жить среди людей и притворяться непогибшим.

«Я отказалась от мира, — писала Настасья Филипповна в сокровенном письме в романе «Идиот». — Я уже почти не существую и знаю это: Бог знает, что вместо меня живет во мне...»

Болезнь Марии Дмитриевны перешла в умирание, Достоевский состоял в браке с женщиной, уже уходящей с земли, уже почти не присутствующей в этой жизни — ни душою, ни телом.

«Сердце ее рыцарское», душа ее, хрупкая Психея, — все было расстроено до крайности.

Она не могла посвятить свои силы Достоевскому, как это сделала впоследствии Анна Григорьевна Сниткина, его вторая жена, — не могла, потому что поневоле принадлежала уже иному миру и сил таких не имела...

Оставалось Достоевскому одному поддерживать этот брак и отдавать свои силы жене умирающей.

И он делал это, как мог. Может быть, делал это лучше, чем принято считать.

Мы мало об этом знаем, потому что тиха и печальна в своем закате эта любовь. Она заслоняется другими сторонами жизни Достоевского — прежде всего литературой и яркими отношениями с Апполинарией Суловой. Но если Апполинария была для Достоевского «инфернальницей», огромным душевным и чувственным соблазном, как бы специально рассчитанным на великого христианина, то Мария Дмитриевна оставалась христианской судьбой его, крестом его, от святого венчания данным, ибо «что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

На требование Апполинарии расторгнуть брак с Исаевой Достоевский ответил отказом. Христианин «не может бросить того, с кем сжился сначала первою, живою и ясною любовью, потом любовью, по слову апостола, «милосердствующей», потом любовью «долготерпящей», наконец — любовью «верующею».

И если кузнецкое венчание (6 февраля 1857 года) явилось апофеозом первой любви Достоевского, то его «верующая» любовь достигла наивысшего выражения в первые часы после смерти Марии Дмитриевны (16 апреля 1864 года).

Он нап...
ний — имен...
сверяя сво...
стом, и по...
Христа.

Он при...
конца запо...

Но ком...
полной мер...
что «челов...
но только...
Божествен...
ятелен чел...

«Маша...
шей? Возл...
по запове...
личности н...
ет. Один Х...
вечный от...
и по зако...
людей.

Между...
идеала че...
день, что...
рое может...
как бы уни...
всем и ка...

И дале...
которое п...

«Когда...
ления к и...
в жертву...
ществу (я...
и назвал з...
ва, по мн...
точной. В...
риевне. Но...
гедии свое...
себя.

Эти ра...
относятся...
таинствами...
чанием, в...
жертвопри...

По сут...
евским пе...
рил обеты...
нием в жи...

Он написал тогда объяснение их отношений — именно с христианской точки зрения, сверяя свой опыт с высшим идеалом, с Христом, и произнося суд на собой в свете Христа.

Он признал, что не смог выполнить до конца заповедь Христовой любви.

Но кому из земнородных удалось это в полной мере? Ведь и Евангелие говорит нам, что «человекам это невозможно» и подсылало только Богу. И однако без стремления к Божественному идеалу бессмыслен и несостоятелен человек.

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремиться и по закону природы должен стремиться человек.

Между тем, после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно, как день, что... высочайшее употребление, которое может сделать человек из своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно».

И далее идет объяснение того страдания, которое пронизывало отношения с Исаевой:

«Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовь в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом». Итак, жертва, по мнению Достоевского, была недостаточной. Всего себя он не отдал Марии Дмитриевне. Но и Мария Дмитриевна, в силу трагедии своей личности, не могла посвятить ему себя.

Эти размышления о жертве неизбежно соотносятся в корне своем с православными таинствами — крещением, евхаристией и венчанием, в основе которых и лежит как раз жертвоприношение.

По сути дела, в записи, сделанной Достоевским перед гробом жены, он как бы сверил обеты венчания с их реальным воплощением в жизнь.

Семь лет назад в кузнецкой церкви Достоевский и Исаева приняли венцы — Крест и аскезу, в которой каждый новобрачный умирает для себя, чтобы жить для другого. Из одной чаши пили они вино — в ознаменование того, что разделят друг с другом чашу жизни. И в знак принесения любви земной в жертву любви Божественной, христианской, три раза с соединенными руками обошли аналой.

И вот эти священные действия, эти символы и стоящие за ними христианские установления отозвались теперь в Достоевском ощущением не вполне осуществленной им брачной жертвы.

И он произнес слово «грех» и сознал свой грех. И его дневниковая запись от 16 апреля 1864 года стала словом покаяния. В этом проявился его истинный лик христианина. Ведь христианин — это не значит безгрешный; это значит — кающийся, сознающий себя грешником, виноватым за всех и вся.

И неслучайно спустя несколько лет сам преподобный Амвросий Оптинский, святой сердцевед, к которому писатель ездил исповедаться, сказал о Достоевском: «Этот — из кающихся».

Семипалатинско-кузнецкий период Достоевского закончился со смертью Марии Дмитриевны Исаевой, «когда ее засыпали землей». Примечательно, что этот период для Достоевского начинался с подъема веры (см. письмо к Н. Д. Фонвизинной — январь 1854 года), с образа Христа-путеводителя и закончился тоже Христом — искупителем греха человеческого.

* * *

Второй брак Достоевского — с Анной Григорьевной Сниткиной — оказался, как принято говорить, счастливым.

Судя по ряду поразительных совпадений, в предначатии своем он складывался как своеобразное повторение первого.

Приведу несколько доказательств.

В ноябре 1856 года Достоевский окончательно объяснился с Исаевой и получил ее согласие на брак.

Объяснение со Сниткиной и предложение быть его женой тоже спустя 10 лет пришлось на ноябрь (8 ноября 1866 года).

В период «жениховства» Достоевский, как пишет А. Г. Сниткина, «приезжал к нам всегда благодушный, радостный и веселый».

О радостном настроении Достоевского, когда он приехал в Кузнецк венчаться с Исаевой, свидетельствуют кузнецкие: «...бывал в очень веселом расположении духа, шутил, смеялся» (статья В. Ф. Булгакова «Достоевский в Кузнецке», газета «Сибирская жизнь», 29 октября 1909 года).

То есть в обоих случаях состояние примерно одинаковое:

«...Мы назначили свадьбу на среду перед масленой, 15 февраля, и разослали приглашения друзьям и знакомым», — рассказывает Сниткина о событиях февраля 1867 года.

Венчание Достоевского и Исаевой состоялось тоже в феврале, десять лет назад (6 февраля 1857 года).

И в том, и в другом случае с бракосочетанием спешили, потому что приближался Великий Пост, во время которого венчаться нельзя.

С Марией Дмитриевной Исаевой Достоевский венчался в сибирском городке Кузнецке, в местной церкви Одигитриевской Божией Матери.

Венчание с Анной Григорьевной Сниткиной совершено было в Измайловском соборе в Петербурге.

Между этими храмами лежит «дистанция огромного размера».

Но переживания Достоевского и в том, и в другом храме перед венчанием были одни и те же.

В Одигитриевской церкви он боялся отказа Марии Дмитриевны от брака и ее бегства. А вот что было в Измайловском соборе. Рассказывает А. Г. Сниткина:

«...Я вышла из кареты и, закрыв фатою образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал:

— Наконец-то я тебя дождался! Теперь уж ты от меня не уйдешь!

Я хотела ответить, что и не предполагала уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою».

Само торжество и в провинциальной, и в столичной церкви проходило в схожей обстановке.

«За народом едва можно было протолкаться вперед... Дамы были все разнаряжены... В церкви — полное освещение» (венчание в Кузнецке).

«Церковь была ярко освещена, пел прекрасный хор певчих, собралось много нарядных гостей» (венчание в Петербурге).

Провидение как бы подтвердило этими повторами, что Достоевскому дается то, что для него предназначено.

Вновь повторились обряды, священнодействия и молитвы святого таинства, и вновь была принесена жертва Богу и друг другу.

На этот раз это была полная жертва с обеих сторон.

У каж
Черного,
И сегодня
нее, курь
которым
литератур
только с
причинил

На р
стификац
ветвь, и
мистифи
кая под
то самоз
тендуют;
ко — наж
сам не б
на в поэ
го инте
что мно
лик поэ
литерату
все по п

В 19
юморист
ник, ср
блистат
шихся
любовь
Аркadia
ный...
прежде
ного, —

Геннадий Абольян

«ГДЕ ВЫСОКИЙ ГОСПОДИН МАЛЕНЬКОГО РОСТА?..»

(Саша Черный и литературные аферисты)

У каждого, кто знаком с поэзией Саши Черного, это имя невольно вызывает улыбку. И сегодняшний наш рассказ о веселом, вернее, курьезном моменте в биографии поэта, с которым мне пришлось столкнуться в своих литературных раскопках. Правда, забавен он только со стороны, а самому Саше Черному причинил немало хлопот и огорчений.

На развесистом древе литературных мистификаций есть побочная, околотитературная ветвь, имя которой — самозванство. Если мистификация — это чаще всего стилистическая подделка, выдумка, шуточный розыгрыш, то самозванцы на подобные тонкости не претендуют; цель их формулируется более кратко — нажива. Саша Черный, надо сказать, и сам не был чужд мистификаторства: им создана в поэзии маска неврастеничного, растерянного интеллигента — образ столь убедительный, что многие приняли личину за подлинный лик поэта. Вот этой-то маской, а точнее, его литературным именем воспользовались... Но — все по порядку.

В 1908 году начал выходить «Сатирикон» — юмористический и сатирический еженедельник, сразу завоевавший сердца читателей. В блистательном созвездии «смехачей», собравшихся в «Сатириконе», особым вниманием и любовью читателей пользовались: в прозе — Аркадий Аверченко, в поэзии — Саша Черный... «Получив номер» журнала, читатель прежде всего искал в нем стихов Саши Черного, — пишет в своих мемуарах Корней Чу-

ковский. — Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, которые не знали бы их наизусть». Недаром один рецензент уподобил книгу сатир Саши Черного молитвеннику современного интеллигента.

Именно мода на Сашу Черного и сыграла с ним престранную шутку. Под сенью его поистине всероссийской популярности зародилась особая разновидность литературной микрии или, попросту говоря, шарлатанства. В отдаленных от Петербурга городах стали появляться самозванцы, выдававшие себя за столичного поэта. Они присылали в провинциальные редакции «свои» стихи, устраивали вечера, читали лекции, делали все это от имени Саши Черного. Вот почему, встречая порой на пожелтевших страницах периферийной печати стихи, фельетоны, подписанные «Саша Черный», всегда следует помнить афоризм Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Так, некий А. Б. Соколов избрал для своего лихого промысла обширную сибирскую вотчину. Замыслы другого ловкача были значительно скромнее: пристроить свои творения, прикрываясь Сашей Черным, в «Рыбинский Вестник». В конечном счете Саша Черный был вынужден на страницах «Сатирикона» сделать «Необходимое разъяснение».

Однако искоренить своих непрошенных популяризаторов ему окончательно не удалось. Даже после революции лже-Саши Черные

продолжали функционировать. Более того — они как бы раздвоились: одни подались за рубеж, другие орудовали в Советской России.

Справедливости ради надо сказать, что далеко не все самовольные дубликаты Саши Черного занимались вымогательством. Некоторые делали это просто из любви к искусству. К примеру, «Саша Черный», печатавший в северокавказских газетах немудреные красноармейские агитки, присвоил себе чужое литературное имя, по-видимому (не хочется дурно думать о человеке), без всякой задней мысли — просто потому, что звали его Александр Чернов. Зато в Одессе был задержан и судом действительно матерый лихоимец — некто А. Ляховецкий. «Десятки лет обманывал этот провокатор провинциальную публику, а зачастую и прессу, настойчиво выдавая себя за известного поэта Сашу Черного», — говорится в заметке, напечатанной в журнале «Огонек» за 1925 год. Там же помещена фотография здорового грома, ничуть не похожего на Сашу Черного.

А как обстояли дела с гастролями чужеземных «эмиссаров» Саши Черного? С ними, а точнее, со следами их деятельности поэту пришлось столкнуться сразу же по прибытии в Берлин, в 1920 году. В редакции местной газеты, куда он явился, его встречали крайне недоверчиво. Дело в том, что один из сотрудников газеты, только что вернувшийся из Загреба, присутствовал там на вечере совсем другого Саши Черного, выступавшего с докладом «Поэт и экзотика». В кабинете редактора произошла сцена, несколько напоминавшая встречу непутевых сыновей лейтенанта Шмидта в кабинете predisполкома. Поэту пришлось доказывать, что именно он настоящий Саша Черный.

Тот загребский «пропагандист» был, по всей вероятности, отъявленным аферистом, оббежавшим под флагом «Саши Черного» весь свет. Разоблачен он был лишь в 1924 году в Праге. Очередное «Письмо в редакцию», написанное по этому поводу Сашей Черным, дышит сдержанным гневом и сарказмом: «За последние годы я получил от незнакомых мне лиц ряд совершенно нелепых писем, связанных с разнообразными похождениями г. Ла-

пицкого в Европе, Африке и Индии, где он всюду выступал под именем «Саши Черного». Полагаю, что пражская история положит конец как этой безобразной, наглой хлестаковщине, так и наивности лиц, которые могли принять мелкого проходимца за поэта, создавшего себе скромное имя отнюдь не похождениями в духе героев Пинкертона».

Некоторая анекдотичность и чисто одесская авантюристность всех этих историй, право, как-то не вяжется с обликом Саши Черного, отличавшегося редким душевным целомудрием и порядочностью. Почему же именно его так возлюбили охотники поживиться за чужой счет? Разве не было у публики других кумиров — Константин Бальмонт, например, или «король поэтов» Игорь Северянин? Были, конечно, но они сами прекрасно могли устроить свои гастроли и выступления (подчас нарочито скандальные), сами были завсегдатями богемных сборищ и прочих мест литературно-артистических радений. Каждый шаг их немедленно становился достоянием прессы, их фотографии и шаржи на них то и дело мелькали на газетно-журнальных страницах, а портреты украшали их поэтические сборники. Выдавать себя за этих любимцев публики было просто небезопасно.

А Саша Черный? «Снимайся возможно реже: ты не двухголовый теленок», — советовал он молодым литераторам и сам же следовал этому наказу. Наверно, поэтому вы не найдете — перелистайте всю дореволюционную периодику — ни одного изображения Саши Черного. Он не принимал участия ни в каких поэтических вечерах и диспутах, не давал интервью репортерам. Его принципиальная позиция, которую он отстаивал с исключительным рвением: право художника на независимость от вторжения посторонних в сферу личного, не относящегося к творчеству. Вот этой-то особенностью общественного поведения не преминули воспользоваться всяческие пройдохи и шулера, подвизавшиеся в литературном мире. Можно сказать, что Саша Черный стал жертвой собственного максимализма и сверхскромности.

Не исключено, что некоторые похождения этих предприимчивых побочных сынов рос-

сийской словесности были известны двум одеситам — И. Ильфу и Е. Петрову — и в трансформированном виде вошли в их знаменитый роман о великом комбинаторе. Надо сказать,

что одесские корни Саши Черного по-настоящему еще не исследованы и подчас его связи с городом детства могут обнаружиться в довольно неожиданной и причудливой форме.

«БЛАГОЙ МАТ» И ДРУГИЕ

Исторические события 1905 года по мере удаления все более вырастают в единую, грандиозную картину. На этом монументальном полотне уже почти неразличимы детали, все перипетии борьбы, кроме главных событий. Но есть средство воскресить живую атмосферу, озвучить те бурные лихорадочные дни. Имеются в виду сатирические журналы первой русской революции — уникальнейший памятник своей эпохи.

Все, кому довелось воочию — на выставках или в частных коллекциях — видеть комплекты этих неподцензурных изданий, обычно бывают поражены неистовым пиршеством обложек, их разномастностью, броскостью, красочностью. Какой феерический спектр можно составить из одних только названий: «Злой дух», «Вампир», «Спрут», «Секира», «Нагаечка», «Пулемет», «Митинг», «Благой мат», «Светает», «Кукареку»... Их великое множество — всего не перечислишь (последний библиографический указатель насчитывает более 250 наименований!). Не только Петербург и Москва, но и многие губернские и даже уездные города могут похвастаться собственной «Дубинушкой» и «Лихорадкой».

Сатирические журналы — это некий барометр, по которому можно судить о политическом климате в стране, о гражданской активности населения. Так, в 1905 году в России существовало всего несколько юмористических еженедельников, благополучно переживавших из XIX века вместе со своими набившими оскомину персонажами — муженьком-рогоносцем, мотовкой-женой, лихоимцем-чиновником да замоскворецкими толстосумами. Число подписчиков на всю страну едва ли насчитывало семь тысяч, да и то за счет дантистов и адвокатов, вынужденных дер-

жать в приемной для развлечения кипы «Будильников» и «Осколков».

Ничего, казалось бы, не свидетельствовало о наличии массового читателя, интересующегося политической сатирой. Ничего не предвещало той лавины сатирических листков, заполнивших всю страну, идущих нарасхват. Тиражи иных из них достигали 100 тысяч! Что же изменилось? Что произошло за столь краткий срок?

Многое: «Кровавое воскресенье», подорвавшее веру в царя-батюшку, волна массовых стачек и забастовок. Царское правительство, напуганное размахом революционно-демократического движения, вынуждено было издать манифест 17 октября — документ, вызвавший всеобщее ликование. Первая победа окрылила всех, вселила надежду на новую жизнь:

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Эти пародийные строки Саши Черного хорошо передают то опьянение свободой, которым было охвачено буквально все население. Огромная доверчивая страна помолодела от этого чудесного слова «свобода», открыв нараспашку свою находившуюся под многовековым гнетом душу.

Одним из величайших завоеваний революции была гласность. И сразу же, как по маговению волшебной палочки, пыльным цветом расцвели сатирические журналы — одно из проявлений вольного народного духа, исторгнувшего из своего необъятного лона уйму новых свежих талантов. Именно эти неискушенные в литературе новички взяли на себя

основную инициативу и труд по выпуску сатирической продукции. Именно тогда всероссийский читатель впервые услышал имена Аверченко, Саши Черного, Князева, Бухова, д'Ора — тех, кто через пару лет составил костяк прославленного «Сатирикона». Большинство авторов выступало под псевдонимами и криптонимами (многие из них по сей день не раскрыты) или вообще печатались не подписываясь. Журнальные страницы пестрят язвительными изречениями, остроумными каламбурами, едкими гротесками, гневными памфлетами... Отмена предварительной цензуры дала возможность вволю поиздеваться над теми, кто, занимая высшие посты в правительственной бюрократической машине, еще недавно был неприкосновенен для критики: Победоносцев, Витте, Столыпин, Дурново, Трепов... Шаржи (отнюдь не дружеские) на этих охранителей трона могли бы составить целую портретную галерею.

Единственного, кого, пожалуй, недостает в этом своеобразном музее, — это самого троносидельца — его императорского величества Николая II, ибо за оскорбление царственного дома следовала особо жестокая и немедленная расправа. Впрочем, портреты самодержца все же появлялись: распоясавшаяся печать и в этом случае находила выход, прибегая к эзопову языку. Так, в роскошной, поистине царской раме был помещен осел «в 1/20 натуральной величины». Намек более чем прозрачный. Или другой пример — вся Россия с особым удовольствием декламировала строчки Саши Черного из «Чепухи»:

Разорвался апельсин
У Дворцова моста... —
Где высокий господин
Маленького роста?

Сей высокий человек
Едет за границу;
Из Маньчжурии калек
Отправляет в Ниццу.

С этими стихами перекликались дерзостные строки другого поэта — Константина Бальмонта:

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно.

Как же осмелился автор говорить о самодержце прямым текстом, как не убоялся расправы? Секрет объясняется просто: стихи Бальмонта были напечатаны за границей в журнале «Красное знамя», который выпускал в Париже А. В. Амфитеатров, автор знаменитого фельетона «Господа Обмаговы». Легко быть дерзким, легко быть смелым, находясь вне пределов досягаемости царской охраны.

Никогда — ни до, ни после — Россия не знала такого количества иллюстрированных периодических изданий. Впрочем, назвать их периодическими можно с большой натяжкой: редко какой журнал дотягивал до десятого-пятнадцатого номера, а чаще прекращал свое существование на 2—3 номере. Нередко первому номеру суждено было стать последним. Почему?.. Искьял творческий порыв авторов, исчерпывались финансовые возможности издателей, или — чаще всего — власти просто-напросто прикрывали журнал, усмотрев в его материалах угрозу государственному спокойствию. Однако запрещенный журнал зачастую возрождался под другим названием, но так, чтобы читатели без труда могли догадаться о преемственности.

Все это чем-то напоминало игру в поддавки: закрывался «Дятел» — вместо него появлялся «Клюв», на обложке которого был изображен дятел, просовывающий свой клюв сквозь прутья решетки. Но игры эти были не столь уж безобидными. Отмена предварительной цензуры отнюдь не означала освобождение от гонений и преследований. Только следовали они уже после выхода журнала и направлены были главным образом на издателей и редакторов, которые не могли, подобно авторам, укрыться за псевдонимом. Все это заставило вести изощренную, рискованную игру, держась все время на грани дозволенного. Диву даешься, как иные выходки сходили им с рук...

Арестованные номера журналов пользовались особым спросом и сразу же подсакивали в цене. Появились даже барышники, специализирующиеся на конфискованных изданиях. Может быть, поэтому еще до сих пор встречаются номера даже тех журналов, весь тираж которых был изъят стражами порядка.

Охотники погреть руки под шумок найдутся всегда. Так на гребне сногшибательного успеха разоблачительной литературы начали орудовать совсем иные «борцы за свободу»: возник журнал «Азарт», ратующий за свободу карточной игры, а к услугам любителей «свободной» любви — полупорнографический журнал бульварного пошиба «Под звуки Шопена».

Конечно же, по прошествии восьми десятков лет мы смотрим на эти страницы, дышащие гневом и сарказмом, совсем другими глазами, нежели те, кто покупал их у уличных разносчиков или в киосках. Многие тонкие намеки и ядовитые издевки нам уже непонятны. Но в то же время мы знаем то, что было неведомо в начале века. Не потому ли некоторые карикатуры приобрели с годами второй — если угодно, провидческий план. В качестве наглядного примера может служить картинка из журнала «Дикарь», на которой изображен доктор, ставящий диагноз: «Болезнь развивается нормально. Наступает кризис». Каждому было ясно, что в качестве умирающей подразумевается Россия. Но нас, зрителей нынешней эпохи, в этой аллегорической сцене более интересует доктор — у него такое знакомое всем нам лицо, ибо в качестве эскулапа изображен... Карл Маркс. Но многие ли, скажите, знали тогда в России, как выглядит автор «Капитала»? А последствия его идей вряд ли могли предвидеть даже самые смелые головы.

Вершинными достижениями журнальной графики тех лет считаются журналы «Жупел» и «Адская почта», где изощренное мастерство художников «Мира Искусства» сочеталось с гражданским пафосом. Но в общей массе сатирических журналов они скорее исключение — по преимуществу оформлением занимались начинающие художники и самоучки,

впервые взявшиеся за краски и кисти, за карандаш. Отсутствие профессиональных навыков они компенсировали политической остротой, смелостью, творческим горением. Злободневные рисунки, наброски, карикатуры, выполненные подчас кустарно, чаще всего в два цвета — черный и красный, как бы символизируют борьбу реакции и революции. На страницах этих летучих, эфемерных изданий, сделанных наспех, по горячим следам, запечатлена волнующая летопись событий: восстание на «Потемкине»... разгром демонстрантов... Москва на баррикадах... похороны Баумана... усмирение деревень... Впервые в русской истории искусство вышло на улицу, стало доступным массам. Сатирические журналы взяли на себя агитационную роль, стали реальной силой, действующей на общество, — случай для легальной печати почти беспрецедентный.

К середине 1906 года революционный угар стал спадать. Ширились аресты, запреты, штрафы. Началось ущемление дарованных свобод. Кончились праздники. И сатирическая продукция резко пошла на убыль. Такой оборот событий можно было предвидеть.

Еще в разгар борьбы Саша Черный с присущим ему скептицизмом писал:

Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь спокоен —
Старый гнет вернется.

Гнет вернулся. Но как напоминание потомкам об этой генеральной репетиции грядущих боев, об упойтельном «глотке свободы» остались сатирические журналы, на обломках которых лежит алый отсвет тех пламенных, тех кровавых дней.

НОВЫЕ КНИГИ

Издательством «Ковчежек» (Кемерово) в 1993 г. выпущены:

Первая и вторая книги для детского самостоятельного чтения «Ковчежек», которые широко используются в общеобразовательных и воскресных школах, детских садах. Книги одобрены департаментом образования области.

Журнал «Литературный Кузбасс».

Находятся в производстве и выходят в 1994 г.:

«День поэзии» (Федоровские чтения в Кузбассе, август 1993 г.).
Поэтический сборник В. Баянова «Какой земле принадлежим».
«Неунывайка» — книжка раскрасок и самоделок.

В плане издательства на 1994 г. также:

Журнал «Литературный Кузбасс», № 1 и 2.

Поэтические сборники И. Киселева, В. Зубарева, И. Куралова.

Третья книга для чтения «Ковчежек».

Планируется издание остросюжетной повести В. Рудина «Три года дьявольщины».

**Издательство «Кузнецкая крепость» (Новокузнецк)
выпустило в 1993 г.:**

Стихи Н. Бельчегешева «Танатуа» (на шорском языке), «С тобою вместе люблю» (в переводе на русский Б. Рахманова).

Сборник стихов В. Понятовского «Сберечь».

Очерк М. Кушниковой «Черный человек сочинителя Достоевского».

Межмузейный сборник очерков «Кузнецкая старина», № 1.

Лирический диптих «Смазчик» Г. Руднева.

Л. П. Блюммер, «На Алтае» (в журнальной публикации «Около золота»), роман о сибирских золотодобытчиках 2-й половины XIX в.

В 1994 г. издательство готовит к выпуску:

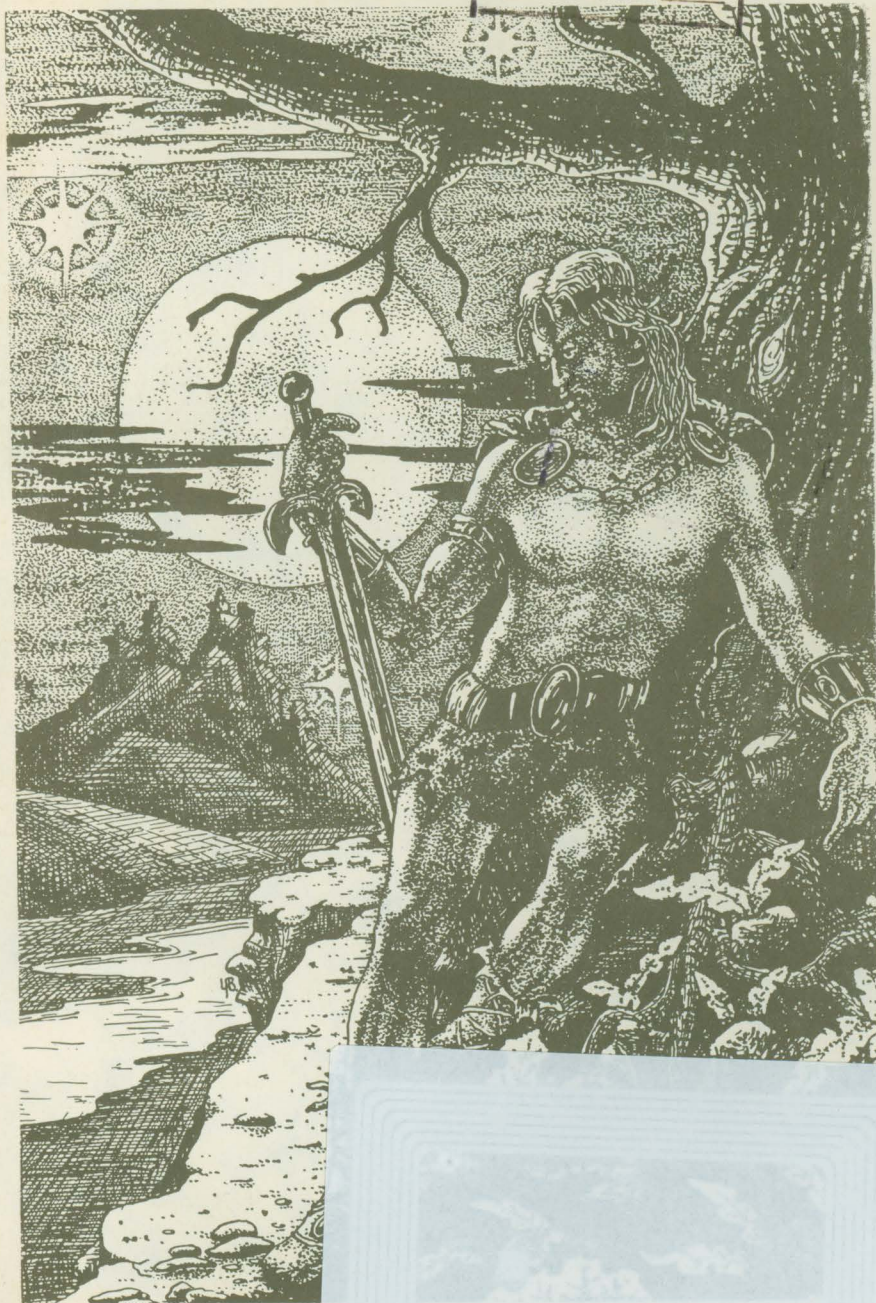
Сборники стихов Н. Николаевского, А. Раевского, Б. Рахманова, Л. Никоновой, Г. Шемелина, В. Угрюмова, С. Озерова.

Краеведческие очерки М. Кушниковой «Места памяти».

Л. И. Фойгт, очерки «Сталинск в годы репрессий».

В планах — издание книг прозы Г. Емельянова, А. Яброва, Л. Никоновой.

Новая цена
руб. 600 коп.



500

20"

